Семейная жизнь весом в 158 фунтов

Автор:
Джон Ирвинг

Семейная жизнь весом в 158 фунтов

Джон Ирвинг

Интеллектуальный бестселлер

Сложные, запутанные отношения двух супружеских пар в центре внимания Ирвинга. Именно в отношениях с близкими человек проявляется в полной мере. Раны прошлого, страхи, неуверенность в себе – то, что «на людях» успешно скрывается за маской внешнего благополучия, в семейной жизни обнажается. Здесь нет необходимости – да и невозможно – все это скрывать. Герои Ирвинга решаются на смелый сексуальный эксперимент. Но, разумеется, ими движет не только – и не столько – жажда острых эротических ощущений.

Джон Ирвинг

Семейная жизнь весом в 158 фунтов

Посвящается JMF

Нас тогда было даже не двое, а четверо, и у этой нашей четверки жизненные соки в жилах бродили так вольно: струились, кровоточили и кипели, как уже никогда в будущем.

Джон Хоукс

Кровавые апельсины

Это было что-то невероятное, и, я думаю, на взгляд Господа Бога, было бы лучше, если бы они все повыкалывали друг другу глаза острым ножом. Но они были, что называется, «хорошие люди».

Форд Мэрдокс Форд

Хороший солдат

1. Ангел по прозванью «Улыбка Реймса»

Моя жена Утчка (ее имя я когда-то сократил до Утч) способна научить терпению даже бомбу с часовым механизмом. Она и меня не без успеха учила выдержке. Сама Утч эту школу прошла, можно сказать, по принуждению. Она австриячка, родилась в местечке Айхбюхль рядом с пролетарским городом Винер-Нойштадт, в часе езды от Вены, в достопамятном 1938 году, известном как год аншлюса. Ей было три года, когда ее отца убили как большевика и диверсанта. Был ли он в самом деле большевиком, трудно сказать, но диверсантом был точно. К концу войны Винер-Нойштадту предстояло разместить у себя самый большой аэродром в Европе и, естественно, завод по производству немецких «Мессершмиттов». Отца Утч убили в 1941 году – его схватили, когда он пытался взорвать самолеты на взлетной полосе аэродрома.

После того как отец был схвачен и убит, местные эсэсовцы нанесли визит маме Утч в Айхбюхль. Они сказали, что пришли искоренить «ростки предательства», явно нашедшие благодатную почву в этом доме. Они велели соседям глаз не спускать с матери Утч и выяснить, не связана ли она, как и ее покойный муж, с большевиками. Они изнасиловали мать Утч и унесли из дома деревянные часы с кукушкой, которые отец привез из Венгрии. Айхбюхль находится совсем близко от венгерской границы, и влияние Венгрии можно заметить повсюду.

Несколько месяцев спустя мать Утч изнасиловали местные жители, которые объяснили, будто так они поняли инструкцию эсэсовцев: глаз не спускать с этой женщины и убедиться в том, что она не большевик. Судить их не стали.

В 1943 году, когда Утч было пять лет, ее мать лишилась работы в монастырской библиотеке рядом с Кацельсдорфом. Якобы она распространяла среди молодежи литературу неподобающего содержания. На самом деле был у нее грех – она таскала книги, но не это поставили ей в вину; впрочем, и пропаж не обнаружили. Маленький каменный дом, в котором родилась Утч, стоял на берегу речки, протекавшей через Айхбюхль. К домику примыкал курятник, где хозяйничала мама Утч, и коровник, который девочка сама стала ежедневно чистить, едва ей исполнилось пять лет. Дом был полон краденых книг, в основном религиозных, хотя Утч больше запомнились книги по искусству. Огромные, плакатных размеров, каталоги памятников церковного искусства: скульптура, архитектура, витражи – начиная со времен еще до Карла Великого и завершая поздним рококо.

Вечерами, когда смеркалось, Утч помогала маме доить коров и собирать яйца. Соседи платили за молоко и яйца колбасой, одеялами, капустой, дровами (реже – углем), вином и картошкой.

К счастью, Айхбюхль был довольно далеко от завода «Мессершмиттов» и аэродрома и почти избежал бомбежек. В конце войны союзники сбросили на территорию завода и аэродром больше бомб, чем на любую другую цель в Австрии. Утч лежала с мамой в их домишке с затемненными окнами и слушала: «бум!», «бум!», «бум!» – бомбы падали на Винер-Нойштадт. Иногда низко над местечком пролетал подбитый самолет, а однажды бомбы попали в цветущий яблоневый сад Хаслингеров. Земля под деревьями покрылась толстым слоем лепестков, как свадебными конфетти. Пчелы не успели опылить сад, так что весь урожай яблок погиб, не родившись. Фрау Хаслингер обнаружили в домике, где делали сидр, – она пыталась заколоть себя секатором; там ее и держали связанной несколько дней в огромном яблочном ларе, чтобы пришла в себя. Она утверждала, что во время своего заключения была изнасилована какими-то мужланами, но это сочли ее фантазией на почве нервного расстройства от потери урожая.

Но далеко не фантазией было вступление русских войск в Австрию в 1945 году. Утч, которой уже исполнилось семь, была прехорошенькой девочкой. Ее мама слышала, что с женщинами русские обращались ужасно, а к детям были добры, но она не знала, отнесутся ли они к Утч как к женщине или как к ребенку. Пришли русские из Венгрии и с севера; они особенно свирепствовали в Винер-Нойштадте и его округе из-за пресловутого завода «Мессершмиттов» и обитавших там высокопоставленных офицеров люфтваффе.

Мама привела Утч в коровник. Там стояло восемь коров. Подойдя к самой большой из них, голова которой застряла в стойле, мать перерезала ей горло. Когда корова сдохла, мать освободила корове голову и перевернула тушу на бок, вскрыла брюхо, вытащила внутренности, вырезала прямую кишку, а потом положила Утч в полость, образовавшуюся между огромных коровьих ребер. Часть внутренностей – сколько влезло – она запихала обратно в утробу, а остальные разложила на солнышке, чтобы привлечь мух. Разрез прикрыла, соединив края брюшины и спрятав Утч от чужих глаз, и сказала, что дышать можно через задний проход. Потом оставленные на солнце внутренности, сплошь облепленные мухами, мать Утч принесла обратно в коровник и разложила над головой мертвой коровы. Окруженная роем мух, та теперь выглядела, будто сдохла давным-давно.

Потом мама поговорила с Утч через коровью задницу:

– Смотри не двигайся и не издавай ни звука, пока тебя отсюда не вытащат.

У девочки там была длинная узкая бутылка от вина, наполненная ромашковым чаем с медом, и соломинка. Так что можно было утолить жажду.

– Смотри не двигайся и не издавай ни звука, пока кто-нибудь тебя отсюда не вытащит, – повторила мать.

Два дня и две ночи лежала Утч в утробе мертвой коровы, пока русские опустошали Айхбюхль. Они зарезали всех оставшихся в стойле коров, а потом привели в коровник и убили нескольких мужчин, не говоря уж о том, что частенько приводили туда женщин, но к лежащей корове даже не подходили: думали, что она пала давно и мясо ее испорчено. Русские использовали коровник для самых разнообразных зверств, но ни разу Утч не шевельнулась в коровьей утробе и не издала ни звука. Даже когда у нее кончилось питье, а коровья туша подсохла и сдавила ей бока, даже когда скользкие внутренности прилипли к ней – и тогда Утч не издала ни звука и не пошевелилась. Она услышала голоса: говорили на чужом языке. Вот корову ткнули в бок. Голоса стали громче и возбужденнее. Корову куда-то потащили. Голоса стали стихать и совсем смолкли. А когда тушу подняли, раздался вопль: Утч, облепленная коровьими внутренностями, вывалилась прямо на руки человеку с черными усами и красной звездой на серо-зеленой фуражке. Это был русский. Он грохнулся на колени вместе с Утч на руках и, казалось, потерял сознание. Столпившиеся вокруг него русские поснимали головные уборы – видимо, молились. Кто-то принес воды и

вымыл Утч. По счастью, это были те русские, которые любили детей, и им даже в голову не пришло отнестись к Утч как к женщине. Поначалу, надо сказать, они думали, что Утч – теленок.

Постепенно становилось ясно, что произошло. Маму Утч изнасиловали. (Почти все матери и дочери были изнасилованы. Почти все отцы и сыновья – убиты.) Однажды утром какой-то русский солдат решил сжечь коровник. Мама Утч просила не делать этого, но у нее уже не было сил спорить. Ей ничего не оставалось, как убить русского лопатой, а потом другому русскому ничего не оставалось, как застрелить ее.

Постепенно, сопоставив факты, русские обо всем догадались. Девочка, должно быть, дочь той женщины, которая так не хотела, чтобы сгорел коровник, а не хотела она потому, что… К такому умозаключению пришел тот самый русский, который подхватил выскользнувшую из коровы Утч. Это был офицер, грузин, с далеких черноморских берегов. Они там любят коверкать слова и придумывать разные смешные словечки. Так вот «утч» на каком-то их жаргоне означает «корова». Я везде расспрашивал об этом грузин, и они могли только предположить, что слово «утч» напоминает звук, издаваемый коровами во время отела. А «утчка»? Ну ясно – не что иное, как теленок. Именно так назвал грузинский офицер девочку, которая вывалилась из коровьего чрева. И само собой, женщину, когда ей за тридцать, странно было бы называть Утчка, так что я звал ее Утч.

Ее настоящее имя было Анна Агати Тальхаммер, и грузинский офицер, выслушав историю семьи Утч из добропорядочного Айхбюхля, забрал свою Утчку в Вену – прямо созданный для оккупации город: там и музыка, и живопись, и театры, и дома для осиротевших в войну детей.

Вспоминая, сколько раз эту историю я рассказывал Северину Уинтеру, я буквально скрежещу зубами. Снова и снова я вдалбливал ему, что, кроме всего прочего, Утч – человек очень преданный. Терпение – разновидность преданности, но он никогда не мог этого понять.

– Северин, – обычно говорил я, – как сила ее, так и ранимость имеют один и тот же корень. Она верит всему, во что вкладывает чувства. Она будет ждать и терпеть вечно – если любит тебя.

Именно Утч и нашла эти открытки. То ужасное лето мы по чьему-то дурацкому совету проводили в штате Мэн, где нас заливали бесконечные дожди, изводила мошкара и где, вероятно, Утч и подхватила «антикварный» вирус. Лето это запомнилось мне горами безобразной рухляди – реликвий колониальных времен. К счастью, увлечение это вскоре прошло.

Именно в штате Мэн, в городке Бат, она нашла эти открытки в каком-то закопченном сарае с вывеской «Антикварные редкости», недалеко от судостроительной верфи; было слышно, как там клепали корабли. Владелец антикварной лавки пытался всучить ей извозчичий кнут. Утч показалось, что в его старых глазах мелькнуло что-то похожее на просьбу испытать кнут на нем. Но она – европейка; а впрочем, я не уверен, что многие американки это бы сделали. Если только в штате Мэн. Утч отвергла кнут и продолжила рыться в старых вещах, стараясь держаться поближе к двери и подальше от старика, следовавшего за ней по пятам. Едва взгляд ее упал на открытки в пыльной витрине, она немедленно узнала Европу. Утч попросила показать открытки: это была Франция времен Первой мировой войны. Она поинтересовалась, откуда они здесь.

Он был американским солдатом Первой мировой и встретил победу во Франции. Единственное, что осталось у него с тех времен, были эти открытки – старые черно-белые снимки, некоторые с коричневатым оттенком, очень плохого качества. Старик сказал, что черно-белые фотографии точнее отражают реальность.

– Мне запомнилась Франция черно-белой, – сказал он Утч. – Не помню, чтобы тогда были иные краски.

Она знала, что фотографии мне понравятся, и купила их – более четырехсот открыток за один доллар.

Я рассматривал их неделями и рассматриваю до сих пор. Там есть дамы в длинных черных платьях, мужчины с черными зонтиками, крестьянские дети в традиционных бретонских костюмах, лошадиные упряжки, старинные авто, военные французские грузовики с брезентовым верхом, солдаты, гуляющие в парке. Есть виды Реймса, Парижа и Вердена – до и после бомбежек.

Утч права: в будущем они мне могут пригодиться. Тем летом в штате Мэн я все еще работал над моим третьим историческим романом, действие которого происходило в Тироле во времена Андреаса Хофера, крестьянского героя, заставившего отступить Наполеона. Франция времен Первой мировой была тут ни при чем, но я знал, что настанет и ее черед. Возможно, через несколько лет, когда люди на фотографиях – и даже детки в бретонских костюмах – достигнут возраста, когда их заведомо можно будет считать покойниками, я вытащу эти открытки на свет. Я нахожу, что неприлично писать исторические романы о людях еще не умерших; это мой принцип. История требует временной дистанции; я стараюсь не писать о живых.

Для истории необходим фотоаппарат с двумя объективами: один – длиннофокусный, другой для съемки крупных планов, с большой глубиной резкости. О широкоугольниках забудьте – достаточно широкого обзора быть не может.

Но тогда, в Мэне, я не помышлял о Франции. Я расчесывал укусы злобных насекомых и был поглощен историей крестьянской армии Андреаса Хофера, тирольского героя, который заставил отступить Наполеона. Я огорчался, видя, как отчаянно тревожится Утч за детей, когда они купаются у скалистого побережья; наши дети были в самом опасном возрасте (какой же возраст не опасный?), и оба не умели плавать. Утч казалось, что им ничего не грозит в машине и в антикварных лавках, да и меня раздражали укусы мошкары, оводов и комаров. Лето в Мэне, у моря, мы провели в четырех стенах.

– Почему мы хотеть сюда приехать? – спрашивала Утч.

– Почему захотели сюда приехать? – поправлял я ее.

– Да, почему мы захотеть? – говорила Утч.

– Чтобы сбежать от всего? – предполагал я.

– От чего?

Сейчас я вспоминаю об этом с иронией, но ведь действительно до того, как мы встретились с Эдит и Северином Уинтерами, нам не от чего было убегать. Тем летом мы еще не были с ними знакомы.

Я снова возвращаюсь мыслями к фотосъемке камерой с телеобъективом. У меня было несколько до– и послевоенных фотографий собора в Реймсе. На двух, снятых крупным планом от левого портала западного фасада, изображен ангел, прозванный «Улыбка Реймса». До войны ангел действительно улыбался. Рядом несчастный святой Никасий простирал свою руку – руку без кисти. Во время бомбежки ангел, прозванный «Улыбка Реймса», был обезглавлен. Рука отвалилась по локоть, и вырвана часть ноги от икры до бедра. Несчастный, простирающий длань святой Никасий потерял свою вторую руку, ногу, подбородок и правую щеку. Теперь, после надругательства над собором, обеим фигурам гораздо больше подходило обезображенное лицо Никасия, нежели довоенная улыбка ангела, затмевающая печаль святого. После войны в Реймсе говорили о том, что жизнерадостная улыбка ангела притягивала бомбы. Но проницательные люди мудро подмечали, что, скорее всего, мрачный компаньон ангелочка, угрюмый святой, который не мог смириться с такой жизнерадостностью, и навлек бомбы на них обоих.

В той части Франции говорят, что мораль этой грустной истории такова: если вокруг бушует война, ты не имеешь права быть счастливым; ты провоцируешь врагов и оскорбляешь друзей. Но мне это поучение не кажется очень убедительным. Славным жителям Реймса не присуще такое острое внимание к деталям, как мне. Когда голова и улыбка ангела были невредимы, святой страшно страдал. Когда же ангел лишился не только улыбки, но и головы, святой – несмотря на собственные раны – словно получил некоторое удовлетворение. Если перевести это в область отношений мужчины и женщины, то, по-моему, мораль «Улыбки Реймса» получится иной: несчастливый мужчина не совместим со счастливой женщиной. Война не война – святой Никасий так или иначе оторвал бы башку ангелочку или уж как минимум согнал бы улыбку с ангельского личика.

– А этот чертов Северин Уинтер с моей ли помощью или без нее все равно сделал бы с Эдит то, что сделал!

– Умей терпить, – говорила Утч в пору своего первого знакомства с английским языком.

О’кей, Утч. Я рассматриваю фотографии Реймса после обстрела. Телеобъектив по-прежнему не дает детального изображения. Вот широкая панорама города – снимок сделан с крыши собора. Разрушенные кварталы. Но ни я, ни самые

мудрые жители Реймса не можем многого извлечь из этой фотографии. Я советовал: забудьте о панорамных снимках. Эдит и Северина Уинтеров я вижу только крупным планом. Нам, пишущим исторические книги, требуется время. «Умей терпить».

Северин Уинтер, эта простая душа, этот упрямец пруссак, имел кое-что общее с Утч с исторической точки зрения. Но история иногда обманывает. Например, обезглавливание ангела «Улыбка Реймса» и прочий ущерб, нанесенный великому реймскому собору, оценивается как гуманитарная потеря в Первой мировой. Сколь лестно для ангела! Что за странное отношение к скульптуре! Потеря произведения искусства приравнивается к насилию, издевательству и убийству бошами французских и бельгийских женщин! И все же обезглавить фигуру ангела по прозванию «Улыбка Реймса» – совсем не то же самое, что насаживать детей на штыки словно шашлык. Люди ставят искусство слишком высоко, а историю недооценивают.

Я так и вижу Северина Уинтера, этого любителя сала, этого оперного фаната, стоящего посередине своей заставленной цветочными горшками гостиной, – дикий зверь в ботаническом саду, слушающий «Лючию» Доницетти в исполнении Беверли Силлз.

– Северин, – сказал я, – ты ее не понимаешь.

Я имел в виду Утч.

Но он внимал только сумасшествию Лючии.

– Мне кажется, Джоан Сазерленд исполняет эту партию лучше, – сказал он.

– Северин! Если бы те русские не тронули корову, Утч осталась бы в ней.

– Она бы захотела пить, – сказал Северин, – и выбралась бы оттуда.

– Она уже хотела пить, – сказал я. – Ты ее не знаешь. Если бы те русские сожгли коровник, она бы и тогда не вылезла.

– Она бы учуяла, что коровник горит, и вылезла.

– Она бы учуяла, что корову жарят, – сказал я, – и сидела бы там, пока не изжарилась бы сама.

Но Северин Уинтер не поверил мне. А чего еще ожидать от тренера по борьбе?

Его мать была актрисой, отец – художником; тренер Северина сказал ему, что из него мог бы выйти толк. Более десяти лет назад Северин Уинтер был вторым, весовая категория до 157 фунтов, на чемпионате Большой Десятки, проводившемся на площадке университета штата Мичиган в Ист-Лансинге. Он боролся за университет Айовы, и второе место в соревнованиях Большой Десятки – его самое большое достижение. Ближе к выходу на национальный чемпионат он не был никогда. Человеком, который побеждал его каждый раз в самом финале турнира Большой Десятки и не давал вырваться дальше, был борец из Огайо Джефферсон Джонс – чернокожий с мощной башкой, синеватыми ладонями и с коленями как дверные ручки красного дерева. Северин Уинтер говорил, что прием «ножницы» Джонс выполнял очень плотно, так что можно было почувствовать его странно острые и выпирающие, как у женщины, тазовые кости. Северин говорил, что когда он лежит на тебе сверху поперек туловища, заломив твою руку, то пережимает циркуляцию крови где-то у самого спинного хребта. Но и Джонс не был достаточно хорош для чемпионатов национального уровня; он не выиграл ни одного, хотя два года подряд был чемпионом Большой Десятки.

Северин Уинтер даже близко не подошел к титулу чемпиона страны. В тот год, когда он участвовал в состязаниях Большой Десятки, в национальном чемпионате ему удалось занять лишь шестое место. В полуфинале он был повержен прошлогодним чемпионом из Оклахомы и затем во втором круге, в соревнованиях проигравших, его положил на лопатки будущий геолог из Колорадской горной школы. И на завершающем этапе, когда решалась судьба пятого и шестого места, он опять уступил пресловутому Джефферсону Джонсу из Огайо.

Одно время я пытался брать интервью у борцов, которые когда-либо побеждали Северина Уинтера. За одним исключением, никто не помнил, кто это такой.

– Ведь обычно не помнишь ни одного из тех, кого победил, но запоминаешь каждого, кто победил тебя, – со значением говорил Уинтер.

Однако я обнаружил, что Джефферсон Джонс, тренер по борьбе в Кливлендской высшей школе, запомнил Северина Уинтера очень хорошо. У них было пять встреч за три года, и все пять раз побеждал Джонс.

– Понимаешь, этот парень не мог одолеть меня, – сказал мне Джонс. – Но он из тех, кого не остановишь. Он прет и прет, понимаешь? Ты валишь его на живот, а он приподнимается на руки и на колени, как старая больная сука. Ты опять бросаешь его на живот, а он прет снова. Он прет и прет, а я кидаю и кидаю.

– Но скажи, он все-таки что-то мог?

– Что ж, он выиграл больше встреч, чем проиграл, – сказал Джонс. – Просто я ему был не по зубам.

В Джефферсоне я почувствовал то же бахвальство, которое отличало и Северина. Борец теряет весовую категорию, но не самомнение. Вероятно, необходимость постоянно снижать вес делает их склонными к преувеличению. Например, то, как он описывал своих родителей, кого угодно могло сбить с толку.

Его мать, Катрина Марек, была актрисой в Вене. На этом, возможно, правдивая часть истории заканчивается. 10 марта 1938 года, в четверг вечером, состоялся последний спектакль Катрины Марек в венском театре «Ателье». Газеты единодушно заявляли, что она была удивительной Антигоной. Эта роль, судя по всему, очень подходила ей в ту пору. Единственное, что ей требовалось, – это свободные одеяния, поскольку уже восемь месяцев она носила в утробе Северина. В пятницу спектакль отменили – она не могла выйти на сцену. Это была та самая Черная пятница, 11 марта, когда было принято решение об аншлюсе, канун вторжения немцев в Австрию. Катрина Марек, узнав обо всем заранее, умудрилась вовремя и себя и свой эмбрион вывезти за пределы страны.

Она взяла такси. Кажется, этот факт в повествовании Уинтера тоже правдив. Она на самом деле взяла такси, погрузилась туда вместе с эмбрионом и с сумкой, набитой рисунками и холстами ее мужа. Живопись была снята с подрамников и скручена в рулоны.

Отец Северина, художник, не поехал. Он дал ей рисунки и холсты и велел взять такси до швейцарской границы, доехать на поезде до Бельгии или Франции,

потом на пароме до Англии, добраться до Лондона, разыскать там двух-трех художников, знающих его работы, попросить их найти в Лондоне театр, жаждущий принять в труппу Катрину Марек, австрийскую актрису, а тем, кто потребует идентификации ее личности, просто показать свернутые в рулоны полотна. Она должна была сказать: «Я Катрина Марек, актриса. Мой муж венский художник Курт Уинтер. Я тоже из Вены. И, видите ли, беременна…» Впрочем, даже под покровом одежд Антигоны это было заметно.

«Смотри не рожай до тех пор, пока не попадешь в Лондон, – сказал Катрине Курт. – Иначе не успеешь выправить документы на ребенка». Затем он запечатлел на ее щеке прощальный поцелуй; она села в такси и покинула Вену. Это была Черная пятница, день накануне начала немецкой оккупации.

Невероятно, но в одной только Вене первой волной гестаповских арестов было сметено семьдесят шесть тысяч человек (Катрина Марек и нерожденный Северин Уинтер в это время на станции Сент-Галлен садились в поезд, направляющийся в Остенде). А что же отец? Северин говорит, что отец его остался, потому что был предан революции, потому что для героя всегда найдется дело. Кто-то, к примеру, должен был перевезти храброго редактора криминальной хроники герра Ленхоффа через венгерскую границу, после того как чехи не дали ему проехать. Пришлось нанять другое такси. Курт Уинтер, возможно, прочел редакторскую статью о немецком путче до полудня и принял меры. Гитлер вошел в Линц только в полдень. «Еще немного – и было бы поздно», – признавал Северин Уинтер. Когда он рассказывал эту историю в первый раз, она звучала так, будто сам отец и сидел за рулем такси и отвез Ленхоффа в Венгрию. Позже это говорилось не столь уверенно.

– Ну, он мог быть тем шофером, – сказал Уинтер. – Полагаю, была серьезная причина, чтобы не поехать с мамой, так ведь?

Потом вся эта история с зоопарком. Я проверил факты, и в целом они совпали. В 1945 году, как раз перед тем, как русские вошли в Вену, весь местный зоопарк съели. Естественно, когда люди недоедали, небольшие группы животных исчезали, в основном ночью. Глядишь – нет зебры, а там нет и антилопы. Когда начался настоящий голод, стало не до зверей. Однако огромный, замечательный зоопарк и ботанический сад на территории дворца Шёнбрунн день и ночь сторожил армейский резерв. Уинтер полагал, что охрана справедливо распределяла зверей между самыми несчастными. Что-то вроде черного рынка экзотических животных, по словам Северина. Затем история становится более

туманной. Поздним апрельским вечером 1945 года, в День дураков, за двенадцать дней до вступления советских войск в Вену, какой-то дурак попытался освободить всех животных.

– Мой отец, – однажды сказал Уинтер, – любил животных, и он вполне мог это сделать. Для ярого антифашиста-подпольщика это могло быть последним актом сопротивления…

И конечно, бедный дурак, освободивший животных, тут же сам оказался съеденным. Ведь животные в конце концов тоже проголодались. Выпущенные на волю, они ревели так громко, что просыпались голодные дети. Это был самый подходящий момент покончить с последними мясными запасами в Вене; русские уже находились в Будапеште. Кто в здравом уме оставил бы советской армии полный зоопарк еды?

– В итоге план не сработал. Вернее, сработал наоборот, – сказал Уинтер. – Вместо того чтобы освободить их, он обрек их на гибель, а они в качестве ответной услуги его съели.

Что ж, даже если существовал такой план, и вообще, если отец Уинтера остался в Вене, почему бы не сделать из него героя?

Утч говорила, что сочувствует этому инстинктивному стремлению Северина. Уверен, что так оно и есть! Я как-то размышлял о судьбе их родителей. А что, если вообще отец Утч, тот самый диверсант из Винер-Нойштадта, был двулик и вел двойную жизнь? Что, если он подцепил эту актрису в Вене, где изображал молодого многообещающего художника, купив чью-то квартиру, заваленную рисунками и холстами, взрывал «Мессершмиты», был пойман, но не убит (как-то убежал), не пожелал возвращаться в Айхбюхль к изнасилованной жене и, движимый раскаянием, в День дураков, чтобы замолить грехи, распустил зоопарк?

Видите ли, мы, авторы исторических книг, должны интересоваться и тем, что уже произошло, и тем, что могло бы произойти. По моей версии, Северин Уинтер и Утч оказались бы родственниками, чем отчасти можно объяснить их будущую привязанность, каковая осталась, впрочем, для меня загадкой. Иногда я утешал себя тем, что просто у обоих было военное детство. Два тяжеловеса из Центральной Европы с грузом воспоминаний! Когда Утч бывала в плохом

настроении, она все краски мира сводила к оргазму. А Северина Уинтера вообще ничто другое не интересовало. Но, размышляя об этом, я понимаю, что у них было много общего, кроме войны.

К примеру, те свернутые в рулоны холсты и рисунки, что Курт Уинтер дал Катрине Марек, многое объясняют. По дороге в Англию она ни разу не взглянула на них, но на британской таможне ее заставили открыть сумку. На всех холстах была изображена обнаженная Катрина Марек, и весьма эротично. Это удивило Катрину не меньше, чем таможенников, ведь Курт Уинтер никогда не проявлял интереса к обнаженной натуре, как и к эротическому искусству вообще. Он в основном приобрел известность как тонкий колорист, а также имел печальную славу неудачливого, но восторженного подражателя двух австрийских художников – Шиле и Климта.

Смущенная, стояла Катрина Марек у стойки британской таможни, в то время как таможенник с интересом внимательно рассматривал каждую картину и рисунок. Катрина была уже на сносях и выглядела, вероятно, изможденной, но таможенный чиновник, игриво улыбаясь, любезно пропустил ее на английскую землю (за взятку в один рисунок), очевидно, глядя на нее глазами Курта Уинтера, не замечая ни беременности, ни усталости.

Лондонские художники, которые, как предполагалось, должны помочь Катрине найти работу в театре, будут делать это вовсе не из уважения к искусству Курта Уинтера. Искусство он и не думал посылать в Англию; он отправил в Англию австрийскую актрису с плохим английским, беременную, неуклюжую и испуганную, в англоговорящую страну, где некому позаботиться о ней. Содержимое сумки могло послужить ей рекламой.

Художники, хозяева галерей и театральные режиссеры говорили Катрине:

«Хм, модель – это вы, не правда ли?»

«Я жена художника, – говорила она. – Я актриса».

А они говорили:

«Да, но для этих рисунков и картин моделью служили вы, так?»

«Да».

И несмотря на ее девятимесячное бремя, являвшееся Северином Уинтером, они смотрели на нее с интересом. В итоге о ней как следует позаботились.

Северин появился на свет в Лондоне, в хорошей больнице, и произошло это в апреле 1938 года. Я присутствовал на его тридцать пятом дне рождения и услышал, как он говорил Утч, изрядно поднабравшись: «Если хочешь знать правду, мой отец был паршивым художником. Но в каком-то смысле он был гений. Он знал, что моя мать – паршивая актриса, и прекрасно понимал, что если мы отправимся в Лондон все вместе, то помрем с голоду. Поэтому он изобразил ее в самом лучшем виде, как только мог, а сам вышел из игры». Это Северин сказал Утч. Он положил ладонь ей на живот, чуть пониже пупка. Таким пьяным я его еще никогда не видел. «И это самое лучшее, что есть в нас всех, если хочешь знать правду». Я поразился, что Утч согласилась с ним.

Жена Северина, Эдит, никогда бы с этим не согласилась. Эдит – самая изысканная женщина из всех, что мне доводилось знать. В ней было столько природного вкуса, что казалось, все вокруг нее должно быть таким же совершенным. Вот почему Северин рядом с ней смотрелся как неуклюжий, невоспитанный медведь рядом с балериной. Высокая, грациозная, раскрепощенная женщина с красивым чувственным ртом. Движения ее мальчишеских бедер, рук с тонкими пальцами были естественны; длинные ноги с гладкой, шелковистой кожей, маленькие торчащие груди – все как у молоденькой девушки; и небрежно причесанные волосы. Всю одежду она носила так непринужденно, что ее можно было представить даже спящей в одежде. Впрочем, лучше представить ее спящей без всякой одежды. Когда мы познакомились, ей было под тридцать, а ее браку с Северином Уинтером исполнилось восемь. Браку с человеком, на котором любая одежда сидела так, будто была не по размеру; его малый рост поражал несоответствием ширине плеч или, если угодно, ширина плеч поражала несоответствием малому росту. Было в нем пять футов восемь дюймов, а вес, наверное, фунтов на двадцать превосходил прежние 157. Мышцы на груди и спине выпирали, как валуны. Предплечья его казались толще, чем чудные бедра Эдит. Воротники лучших в мире рубашек были ему тесны. Он боролся с маленьким, почти незаметным животиком, которого стеснялся и в который именно поэтому я любил тыкать. Твердый, обтянутый кожей, как футбольный мяч, животик. У него была массивная, в форме шлема, голова с густой темно-каштановой шевелюрой,

насаженной на макушку, как лыжная шапочка, и спускающейся к ушам наподобие подстриженной лошадиной гривы. Одно ухо было изуродовано, и он старался его прятать. Его отличала наглая мальчишеская улыбка, а энергичный рот сверкал белыми зубами. Только причудливая, в виде буквы V, дырка зияла внизу: кусок зуба был отколот чуть ли не до самой десны. Большие карие, широко поставленные глаза, на переносице – шишка, заметная, если сидеть от него слева, и вмятина – там, где его нос перебили еще раз, – заметная, только если смотреть на него прямо.

Он не просто выглядел как борец, вся суть его была борцовская, к тому же в нем уживались черты прагматика и романтика. Его жесты были жестами прирученного дикаря; он был неотесан и великодушен; он изо всех сил старался держаться с достоинством, но часто попадал в глупейшее положение. На факультетских сборищах он блистал красноречием на двух языках, воинственно нападал на дилетантов и нуворишей от образования, исповедовал принцип «необходимо знать проклятое прошлое» и считал, что каждый студент должен пройти хотя бы трехгодичный курс иностранного языка. (Сам он преподавал немецкий.) Излишне говорить, что он вызывал насмешки, но посмеивались над ним осторожно: он был слишком силен, чтобы его задирать, его отточенный сарказм разил прямо в цель; кроме того, Северин обладал неким сомнительным даром – мог переплюнуть любого там, где требовались терпение и выносливость (например, на заседаниях ученого совета, где занудство почиталось за добродетель). Несмотря на то, что он работал на кафедре немецкого языка, знали его прежде всего как тренера по борьбе. И сам он упорно подчеркивал это, в особенности разговаривая с незнакомыми. Представляясь, о немецком никогда даже не упоминал.

– Вы работаете в университете?

– Да, тренером по борьбе, – говорил обычно Северин Уинтер. Однажды я видел, как Эдит съежилась от этих слов.

Он никогда не был зачинщиком драки. Но как-то на вечеринке, устроенной для новых сотрудников факультета, ему пришлось прибегнуть к своей аргументации: один из гостей, скульптор, попытался нанести апперкот в обманчиво выпирающий и, казалось, беззащитный животик Северина. Хотя скульптор был на голову выше и фунтов на десять тяжелее, после этого удара кулаком его собственная рука беспомощно отлетела назад – Уинтер даже не дрогнул.

– Нет, нет, – нетерпеливо объяснял он скульптору. – Вы должны всю силу вложить в плечо, перенести центр тяжести…

Он и не мыслил о возмездии, играл лишь невинную роль тренера.

Его проповеди спортивного образа жизни, скучные для всех, кроме его немногочисленных друзей, однажды заставили меня заподозрить, что он вовсе не был таким уж хорошим борцом, и, когда меня пригласили прочитать лекцию об историческом романе в университете Айовы, я подумал, что стоит разыскать там уинтеровского тренера. У меня вдруг возникло сомнение, не выдумал ли Джефферсон Джонс себе соперника, которого якобы каждый раз побеждал.

Сделать это оказалось проще простого, тренер занимал какой-то почетный пост, подвизаясь на кафедре атлетики, и я спросил, помнит ли он борца по имени Северин Уинтер, категория 157 фунтов.

– Помню ли я его? – сказал тренер. – О, он подавал большие надежды. У него было все необходимое, были амбиции и агрессивность, если вы понимаете, о чем я.

Я сказал, что понимаю.

– Но он проигрывал в главном, он не мог совладать со своей психикой. Не то чтобы он попадал под психологическое влияние противника, нет. Но он делал ошибки. Делал только серьезные ошибки. И не так уж много, – поразмыслив, решил тренер. – В крупном матче и одной вполне достаточно.

– Уверен, что достаточно, – сказал я. – Но ведь однажды он был вторым в соревновании Большой Десятки в весовой категории до 157 фунтов?

– Ага, – сказал тренер. – Но с тех пор весовые категории переменились. Сейчас это уже 158. Раньше было – 123,130,137,147,157 и так далее, а теперь стало 118, 126, 134, 142, 150, 158 и так далее, ну, вы понимаете.

Я не понимал, да и не очень-то хотел. Жизнь университетского профессора вязнет в мелочах, но что может быть скучнее бесконечной статистики спорта?

Иногда я козырял этим в разговорах с Уинтером:

– Неплохо, Северин, посвятить себя области, где изменения составляют один фунт за десять лет.

– А что твоя история? – отвечал он. – Сколько фунтов прибавила цивилизация? Думаю, около четырех унций со времен Христа и пол-унции со времен Карла Маркса.

Уинтер был образованным человеком, его немецкий был, конечно, безупречен, и преподавателем он был хорошим – при том, что далеко не всегда носители языка становятся лучшими учителями. И тренером он был хорошим, хотя получил эту работу случайно. Его взяли в университет как преподавателя немецкого, но он не пропускал ни одной тренировки и вскоре стал неофициальным помощником тренера – борца тяжелого веса из Миннесоты, который побеждал и в Большой Десятке, и в национальном чемпионате в то время, когда Уинтер выступал за Айову. Бывший чемпион-тяжеловес внезапно упал замертво от разрыва сердца, демонстрируя какой-то сложный прием.

– Сначала мне показалось, что он просто неправильно выполнил прием, – говорил Уинтер.

Оставшись посреди учебного года без тренера, кафедра атлетики предложила Уинтеру занять освободившееся место. Он признался Эдит, что это была его тайная мечта. Его команда продемонстрировала такие высокие результаты, что на следующий год он получил ставку главного тренера, вызвав лишь легкие пересуды среди тех, кто позавидовал его двойному заработку. Только его враги на кафедре иностранных языков и литературы могли заявлять, что Уинтер мало времени уделяет своим студентам из-за этой новой нагрузки. Но в лицо, естественно, никто ему этого не высказывал. Между тем изучающих немецкий стало намного больше, так как Уинтер обязал всех членов борцовской команды брать у него уроки немецкого.

Уинтер утверждал, что занятия борьбой помогают ему, преподавателю языка (он, правда, утверждал, что они помогают во всех его делах – так прямо и говорил, вслух, в разных компаниях, положив свою руку на тугую попку Эдит, толкая ее плечом, отчего та теряла равновесие и расплескивала содержимое бокала: «Борьба помогает мне абсолютно во всем!»).

Их взаимная привязанность казалась искренней, но странной. В первый вечер нашего знакомства по дороге домой мы с Утч, полные интереса к ним, обменивались впечатлениями.

– Боже, он выглядит как тролль, – сказал я Утч.

– Зато тебе явно нравится, как выглядит она, – сказала Утч.

– Он просто похож на огромного карлика, просто пародия.

– Я тебя знаю, – сказала Утч; она положила тяжелую руку мне на бедро. – Тебе нравятся женщины ее типа, тонкие лица. Порода – так бы ты сказал.

– У него почти нет шеи, – сказал я.

– Он очень симпатичный.

– Ты находишь его привлекательным?

– O ja. Очень, конечно.

– Конечно, очень, лучше сказать, – поправил я ее.

– Да, – сказала Утч, – а ты находишь привлекательной ее, правда?

– O ja. Очень, конечно, – сказал я.

Ее сильная рука сжала мое бедро, мы рассмеялись.

– Знаешь, – сказала она, – ведь всю еду готовил он.

Нужно заметить, что в приготовлении пищи Северин не был варваром, только в поедании ее. После ужина мы уселись в гостиной на софе, огибающей кофейный столик, и попивали бренди. Уинтер спокойно уминал фрукты и сыр, отрывал виноградины, налегал на груши. Бренди он перемежал с вином, оставшимся от обеда. Утч сидела сонная. Она положила босую ногу на кофейный столик, и

Уинтер схватил ее за щиколотку, внимательно разглядывая икру, как будто это был кусок мяса, который следовало отделить от кости.

– Посмотрите на эту ногу! – воскликнул он. – Посмотрите на толщину этой щиколотки, на форму этой ступни!

Дальше он выдал что-то Утч на немецком, и она засмеялась, но при этом не была ни рассержена, ни смущена.

– Посмотрите на эту икру. Настоящая крестьянская нога, – сказал Уинтер. – Это нога полей! Это нога, которая обратит противника вспять!

Он опять заговорил по-немецки, ему явно нравилось сильное тело Утч. Она была ниже его – только пять футов шесть дюймов. У нее были округлые формы, крутые бедра, полная грудь, чуть намечавшийся животик и мускулистые ноги – крепенькая, никакого жира. Когда она стояла, на ее попе, как на кресле, вполне мог сидеть ребенок. Лицо – типичное для жителей Центральной Европы: высокие скулы, тяжелый подбородок и большой рот с тонкими губами.

Утч ответила что-то Северину по-немецки; было приятно слушать напевный венский диалект, но хотелось бы понимать, о чем они говорят. Он отпустил ее ногу, но она оставила ее лежать на столе.

Я взял свечу, дал прикурить Эдит, потом прикурил сам. Ни Утч, ни Северин не курили.

– Вы, как я понимаю, пишете, – сказал я Эдит.

Она улыбнулась мне. Конечно, я понял тогда, что это была за улыбка и куда мы все катимся. Только однажды я видел улыбку столь же самоуверенную. Пожалуй, Эдит улыбалась еще беззаботнее и обольстительнее, чем ангелочек по прозванью «Улыбка Реймса» на той открытке.

2. Итоги разведки: Эдит (весовая категория 126 фунтов)

Не закончив подготовительной школы, Эдит Фаллер отправилась со своими родителями в Париж. Они были из нью-йоркских Фаллеров, и споров по поводу переезда не возникло; Эдит страшно обрадовалась, да и отец говорил, что не стоит тратить время на учебу, если есть возможность жить в Париже. Там она все же поступила в престижную школу, а когда родители возвратились в Нью-Йорк, она предпочла поездить по Европе. Потом Эдит вернулась в Штаты, и ее мать не без разочарования заметила, что девочка «губит свою естественную красоту всевозможными ухищрениями, только бы походить на писательницу». В течение двух лет учебы в колледже Сары Лоренс Эдит сохранила этот «писательский» стиль, что и было единственной причиной ее разногласий с родителями. Хотя на самом-то деле она выглядела точно так, как и во время путешествия по Европе; к писательству это не имело никакого отношения. Когда внезапно умер отец Эдит, она бросила учебу и приехала к матери в Нью-Йорк. Не желая дальше огорчать ее, она сделала все, чтобы вернуть свою «естественную красоту», и при этом обнаружила, что все равно может писать.

Эдит преуспела в поисках работы для матери – не то чтобы кто-либо из нью-йоркских Фаллеров нуждался в работе, нет, просто маме нужно было чем-то заняться. Один из поклонников Эдит возглавлял отдел комплектования в Музее современного искусства, и поскольку обе, и Эдит и ее мать, были почти дипломированными специалистами по истории искусства (ни та, ни другая, впрочем, так и не окончили колледжа), в этом отделе нашлась увлекательная работа на общественных началах – и вопрос решился просто.

У всех поклонников Эдит была интересная работа в той или иной сфере. Учась в колледже, она никогда не тратила времени на студентов; ее больше привлекало общество мужчин постарше. Тому, кто работал в музее, было тогда тридцать четыре, а Эдит – двадцать один.

Шесть месяцев она прожила в Нью-Йорке вместе с матерью. Однажды вечером Эдит позвала ее в кино, но мама сказала:

– Знаешь, Эдит, я не могу. У меня куча дел.

Тогда Эдит почувствовала, что может спокойно возвращаться в Европу.

– Пожалуйста, не думай, дорогая, что ты должна выглядеть как писатель, – напутствовала ее мама, но Эдит уже переросла эти советы.

За год жизни в Париже Фаллеры приобрели друзей; в чьем-нибудь милом доме она вполне могла рассчитывать на комнату, в которой будет писать, а вечера сумеет заполнить массой интереснейших вещей. Эдит, серьезная молодая особа, никому не причиняла беспокойств. Постоянных поклонников в Америке у нее не осталось, и в Европу она ехала вовсе не за этим. Она ни разу по-настоящему не влюблялась, но, как позже мне говорила, вспоминая свой отъезд из Нью-Йорка, что в глубине души полагала – пожалуй, пришло, время «по-настоящему влюбиться». Правда, сначала хотела написать что-нибудь значительное. Эдит признавалась: она понятия не имела, что это будет за произведение, и, более того, не могла представить себе, какой должна быть эта «первая настоящая любовь». До той поры она спала только с двумя приятелями, одним из них был тот, музейный.

– И вовсе не для того, чтобы пристроить маму, – говорила мне Эдит. – Она бы и так нашла себе занятие.

Человек этот был женат, имел двоих детей, но заявил Эдит, что хочет ради нее оставить семью. Она порвала с ним, вовсе не желая, чтобы он ушел от жены.

В Париже в первый же день Эдит пригласили погостить друзья ее родителей, они предоставили ей роскошную комнату и студию – живи сколько пожелаешь. Отправившись за покупками, она немедленно обзавелась фантастически дорогой пишущей машинкой с французским и английским шрифтами. Она не выглядела как писатель, но посмотрите, как серьезна была она в двадцать один год!

Поначалу Эдит тратила уйму времени, отвечая на письма матери. Та была необыкновенно захвачена своей работой и занималась тем, что на жаргоне музейщиков называлось «закруглять современные серии». В Музее современного искусства были представлены почти все крупные и малые направления живописи двадцатого века, однако работ некоторых второстепенных художников еще недоставало. Заполнить эти пробелы как раз и стремилась мать Эдит. Ни о ком из тех художников, которыми она интересовалась, Эдит никогда не слышала.

– Но мои собственные писания казались мне такими незначительными, – рассказывала Эдит, – что я испытывала жалость и сочувствие ко всем этим неизвестным художникам.

Наши родители, должно быть, чем-то походили друг на друга. Моя мать заинтересовалась малоизвестными писателями как раз в то время, когда напечатали мой первый исторический роман. Конечно, большинство исторической беллетристики – произведения слабые, но мать чувствовала себя обязанной исследовать сферу моей деятельности. Раньше я никогда не читал исторических книг, но она взяла за правило посылать мне свои уникальные находки; и это продолжается по сей день.

Когда я опубликовал свой первый роман и приехал домой повидать родителей, мать встретила меня в дверях – впоследствии это стало ритуалом после выхода каждой книги. Стискивая мне руки, мама говорила, что только-только закончила читать мою книгу, что поражена тем, как сильно она взволновала ее, а папа (мы уже пробираемся на цыпочках через гостиную) как раз сейчас заканчивает читать. Кажется, «пока что» прочитанное ему нравится. И мы крадемся через старый дом, приближаясь к отцу, сидящему в своем рабочем кабинете, как охотники подкрадываются к жертве, которая «как раз сейчас заканчивает» поглощение куска сырого мяса.

Бывало, мы с мамой окружали провалившееся кресло отца. Даже стоя позади него, я мог определить, что отец спит. У него была привычка зажимать стакан с виски между колен и удерживать его во сне; он умудрялся никогда не расслаблять мышцы и ни разу не пролил содержимое стакана. Вокруг громоздились раскрытые книги – те, которые он «как раз сейчас заканчивал». На коленях лежало как минимум две, одна из них – обычно моя, но невозможно было понять, какая именно повергла его в сон. Я ни разу не видел в этом доме книги, прочитанной до конца. Как-то отец обмолвился, что, заканчивая любую книгу, он неизменно впадает в уныние.

Он был историк; тридцать шесть лет преподавал в Гарварде. Будучи студентом, я имел глупость записаться на его курс – один из тех курсов «интеллектуальных проблем», которыми так гордился Гарвард. Цикл лекций посвящался вопросу «Был ли русской революции необходим Ленин. Была ли она неизбежна? Могла ли она свершиться в другое время? Был ли Ленин действительно важной фигурой?». Как и в большинстве таких курсов, ответов никто и не ожидал. Пятнадцать студентов просто обсуждали эти вопросы. Размышлял об этом вслух и мой отец. На его последней лекции (я называл его «сэр») я спросил, не может ли он высказать собственное мнение, ведь должен же он его иметь: был Ленин необходим русской революции или нет?

– Конечно, нет, – сказал он и страшно разозлился.

Он поставил мне «С». Такой низкой оценки я никогда еще не получал ни по одному предмету. Позже я спросил, что он думает о моей писанине, при этом добавил, что знаю его отношение к историческим романам: ни то ни се – не литература и не история, – но в моем случае…

– Вот именно, – сказал он.

Моя первая книга была о великой чуме, опустошившей за год Францию. Я сосредоточился на одной-единственной деревне, и книга с точностью чуть ли не клинической воссоздала страшную историю о том, как постепенно ушли в мир иной все семьдесят шесть жителей. Черная Смерть. Некоторые образы наводили ужас.

– Пока мне нравится, – сказал папа. – Я еще не закончил, но думаю, ты поступил мудро, взяв одну маленькую деревеньку.

Мама была моей поклонницей. Она заваливала меня дурными историческими романами с обязательной припиской: «Твои книги, по-моему, намного лучше!» И после каждой моей публикации ритуал повторялся. Я входил в дверь дома на Браун-стрит в бостонском Кембридже, в дверь того самого дома, где вырос и куда всегда возвращался. Сначала один, потом с Утч, потом с нашими детьми, и моя мама неизменно нашептывала нам, приглашая войти:

– Мне так понравилась твоя книга, и твоему папе очень нравится. Он говорит, она лучше предыдущей. Кажется, сейчас он как раз заканчивает…

И мы крались через гостиную, приближались к кабинету и видели спящего отца с неизменным стаканом виски между колен. Моя книга лежала среди прочих с виноватым видом, будто это именно она послужила причиной его сонного оцепенения.

Впрочем, выпитого до дна стакана я так никогда и не увидел. Только моя мать, как и мать Эдит, относилась к любой, даже малозначительной работе всерьез.

Думаю, что матери, как правило, гораздо серьезнее отцов. Однажды, усаживаясь ужинать, я хлопнул Утч по мягкому месту и случайно плеснул вина в стакан сына, где еще оставалось молоко.

– Ты хоть раз взглянул сегодня на своих детей? – спросила меня Утч. – Ну-ка закрой глаза и скажи, во что они одеты.

Но моя теория разбивается вдребезги, когда речь идет о Северине Уинтере. В их семье мамой был он.

Неделю спустя после того, как Утч уличила меня в смешивании вина с молоком, мы сидели на кухне у Уинтеров; повсюду носились наши дети, а Северин готовил рыбу по-французски в белом вине. Мы с Эдит беседовали у кухонного стола; Утч завязывала чей-то ботинок, а младшая дочь Уинтеров не спускала глаз с маминой серьги. Я не слышал, что сказала девочка, но вдруг Северин, оторвавшись от плиты, крикнул:

– Эдит!

Она подскочила.

– Эдит, – сказал он, – твоя дочь, которая весь день с тебя глаз не сводит, уже в четвертый раз задает тебе один и тот же вопрос. Почему бы не ответить ей?

Эдит посмотрела на девочку, с удивлением обнаружив, что та сидит рядом. Но Утч была в курсе дела: она слышала все, что говорил ребенок.

Утч сказала:

– Нет, Дорабелла, это не очень больно.

Эдит все еще сидела, уставясь на дочь, будто только теперь осознав, что это ее собственная плоть и кровь.

– Мамочка, уши очень больно прокалывать? – загудел от плиты Северин.

И Эдит сказала:

– Да, немножко, Фьордилиджи.

Имя-то она назвала правильно, но девочек перепутала. Все это поняли и ждали, что Эдит исправит свою оплошность, но она молчала.

– Эдит, это Дорабелла, – сказал Северин.

Дорабелла засмеялась, и Эдит в изумлении взирала на нее. А Северин, как бы оправдываясь перед нами, сказал:

– Все понятно. Года четыре назад Фьордилиджи задала Эдит точно такой же вопрос.

Внезапно в этой электризованной кухне повисло неловкое молчание, только рыба скворчала на плите. Возможно, чтобы снять напряжение, которое мы всегда чувствовали, осознавая нашу странную близость, Северин сказал (надо же было ляпнуть такое!):

– А это не очень больно, когда язык присох к нёбу?

Мы все засмеялись. Почему? Когда я думаю о нас четверых, то иногда вспоминаю слова, которые мой отец произнес в ответ на просьбу «Таймс» высказать мнение о новых веяниях в американской внешней политике, «особо осветив нюансы, которые обычные люди могут и упустить». «Там не меньше нюансов, чем в русской революции», – сказал отец. Никто не понял, что он имел в виду.

Характерная для моего отца попытка широкого обзора. Насчет Ленина я никогда с ним не соглашался. Ленин был необходим. Люди всегда необходимы. («Как мило с твоей стороны так рассуждать, – однажды сказал мне Северин. – Эдит тоже романтическая натура».) Я иногда думаю, что ужасные книги, проштудированные моей матерью, были намного ближе к правде, чем взгляды и представления отца. И Эдит и я выросли никудышными снобами – нам передалась наивность наших матерей.

Живя в Париже, Эдит прочла все, что смогла разыскать о малоизвестных художниках, упоминавшихся в маминых письмах. Нашла лишь некоторых, но

старалась изо всех сил. Ей самой удалось написать немного, но зато она собрала достаточно материала, чтобы компетентно вести переписку с матерью. И тут к ней проявил неожиданный интерес отец семейства, в котором Эдит была обожаемой гостьей. Он всегда демонстрировал вежливую отеческую нежность, и ни в чем эдаком она не могла его заподозрить. Однажды утром он не рассчитал удара, очищая сваренное всмятку яйцо – оно катапультировало со своей подставочки и приземлилось прямо на персидский ковер. Жена побежала на кухню за губкой, а Эдит присела на корточки около его стула и принялась промокать салфеткой яичное месиво на ковре. Хозяин дома запустил руку ей в волосы и запрокинул голову, повернув к себе ее удивленное лицо.

«Я люблю тебя, Эдит», – прохрипел он.

Потом он разрыдался и выскочил из-за стола.

Его жена вернулась с губкой.

«Удрал? – спросила она Эдит. – Он так всегда расстраивается, когда что-нибудь испачкает».

Эдит пошла к себе и собрала вещи. Потом задумалась, надо ли написать матери и объяснить все. Пока она размышляла, что же ей делать, горничная принесла письмо. Это было очередное послание от мамы о малоизвестных художниках. Не могла бы Эдит оторваться от своей работы в Париже ради небольшой деловой поездки в Вену? Босс хочет «закруглить» очередное направление современного искусства. Конечно, у них было кое-что из венского сецессиона, имелся Густав Климт, который (так говорила мать Эдит) на самом деле вовсе не принадлежал поздневенскому модерну, поскольку являлся предтечей экспрессионизма. Из венских экспрессионистов у них были Эгон Шиле и Кокошка, и даже Рихард Герстль («Кто-кто?» – подумала Эдит). «У нас есть кошмарный Фриц Вотруба, – писала мама, – но нам нужен кто-нибудь из тридцатых годов, чья случайно попавшаяся работа может до некоторой степени представлять направление в целом».

Художник, на которого пал этот сомнительный выбор, учился в Академии у Герберта Бёкля. Пик его творчества пришелся как раз на то время, когда нацисты оккупировали Австрию в 1938 году. В возрасте двадцати восьми лет он исчез. «Все его картины еще в Вене, – писала мама Эдит. – Четыре временно

экспонируются в Бельведере, а остальные находятся в частных домах. Все они принадлежат сыну художника, который, кстати, хочет продать их, и чем больше, тем лучше. Но мы купим только одну-две. Тебе надо будет сделать слайды, и пока ничего не говори о цене».

«Сегодня же еду в Вену, – телеграфировала Эдит. – Рада передышке. Самое подходящее время».

Из аэропорта Орли она вылетела в Швехат. Три года назад в декабре она побывала в Вене; тогда город ей страшно не понравился. Это был самый типичный центральноевропейский город, который ей когда-либо приходилось видеть, и промозглая слякоть на улицах как нельзя лучше гармонировала с тяжелыми барочными фасадами. Эдит казалось, что дома там похожи на людей с землистым, нездоровым цветом лица в плохо сшитых, но претенциозных одеждах. Не было ни приветливости небольшого городка, ни элегантности, которая свойственна большим городам. Чувствовалось, что война только-только закончилась. По всему городу еще были развешаны указатели, сообщающие расстояние до Будапешта; Эдит и не догадывалась, что была почти в Венгрии. Она провела в Вене всего три дня и послушала одну скучнейшую, хотя и неплохую, оперу «Кавалер роз»; тогда в антракте какой-то мужчина приставал к ней самым непристойным образом.

Но сейчас, когда ее парижский самолет приземлился в Вене, было другое время года – ранняя, солнечная весна с запахом влажного ветра и синим небом, как у Беллини. Дома, прежде выглядевшие такими серыми, теперь играли множеством оттенков; толстенькие путти и скульптуры на зданиях представлялись застывшими в камне гостеприимными хозяевами. Люди высыпали на улицу, и казалось, будто население удвоилось. В самой атмосфере что-то переменилось, вид детских колясок намекал на новые возможности продолжения рода.

Водителем такси оказалась женщина, знавшая в числе прочих и английское слово «дорогая»:

«Куда вас доставить, дорогая?»

Эдит протянула ей адрес, указанный в письме матери. Она выбрала отель недалеко от Бельведера, и ей было важнее всего узнать, где живет сын

художника. Он окончил один из американских университетов несколько лет назад и вернулся в Вену к умирающей матери, а позже унаследовал все картины отца. Он намерен был оставаться здесь до тех пор, пока не получит степень в университете, и хотел продать как можно больше отцовских картин. Он написал очень грамотное и остроумное письмо в Музей современного искусства. Начал с того, что имя его отца, не очень знаменитого художника, возможно, не известно сотрудникам музея, но они ни в коем случае не должны считать это серьезным упущением. Сыну художника было двадцать семь, на пять лет больше, чем Эдит. Она выяснила, что живет он в двух кварталах от Бельведера.

Такси доставило ее к отелю на Шварценбергплац. Рядом с гостиницей официанты устанавливали большие красно-бело-синие зонты «Чинзано» для летнего кафе. Но было слишком свежо, чтобы долго сидеть на воздухе; солнце светило слабо, и у Эдит создалось ощущение, что она пришла на вечеринку раньше положенного, когда еще не закончились приготовления. Она поблагодарила водителя и услышала в ответ:

«О’кей, дорогая».

Эдит собиралась спросить еще кое-что: она не знала, как произносится имя сына художника.

«Как это сказать?» – спросила она водителя, протягивая мамино письмо. Имя было подчеркнуто: Северин Уинтер.

«Сээ-вээ-рин», – услышала она в ответ мурлыканье.

Эдит удивилась тому, как приятно звучит это имя.

«Сээ-вээ-рин», – напевала она в гостинице, принимая ванну и переодеваясь.

Западные фасады домов, выходящих на Шварценбергплац, все еще освещались солнцем. За пенящимися фонтанами возвышался русский военный мемориал. Эдит казалось странным, как быстро ушло в прошлое то утро, когда мужчина запустил ей в волосы руку и сказал: «Я люблю тебя» – и выскочил в слезах. Она пошлет им обоим какую-нибудь прелестную дрезденскую статуэтку – и тут же, улыбнувшись, поймала себя на мысли: вдруг подарок в дороге разобьется.

Она надела облегающую блестящую черную кофточку и мягкий серый кашемировый костюм. Вокруг запястья дважды обернула ярко-зеленый шарф и завязала его узлом; иногда она делала такие вещи, и это было эффектно.

«Сээ-вээ-рин Уи-и-интер?» – спросила она зеркало, приветственным жестом протягивая руку с ярким шарфом.

Телефон она терпеть не могла, поэтому решила не звонить – прогуляется и просто зайдет. Она попыталась представить себе сына малоизвестного художника. Интересно, предложит ли он ей выпить, пригласит ли поужинать или послушать оперу, или позвонит и договорится, чтобы для них открыли ночью Бельведер, – а может быть, он окажется бедным и неловким, и ей самой придется пригласить его отужинать? Она еще не решила, изображать ли ей умную деловую даму, сказать ли, что она приехала в Вену как представитель Музея современного искусства в ответ на письмо господина Уинтера по поводу картин его отца… или сразу признаться, что ее визит на самом деле совершенно неофициален.

Она была так рада уехать из Парижа, что толком не успела ничего обдумать; и вот теперь у нее появились сомнения насчет одежды. Она надела высокие, по колено, лакированные зеленые сапоги и решила, что выглядит неплохо. Пожалуй, лишь немногие одевались в Париже как Эдит, а в Вене уж наверняка никто. В конце концов, Северин Уинтер бывал в Америке. Думая об Америке, Эдит всегда вспоминала Нью-Йорк. Она не знала, что Северин Уинтер в основном торчал в Айове и проводил время в лингафонном кабинете с наушниками или на борцовском мате – тоже в наушниках, но только защитных (из-за этого, а также по причинам генетическим уши его были плотно прижаты к голове).

«Сээ-вээ-рин», – сказала она снова, будто пробуя на вкус суп.

Она вообразила худого бородатого человека, которому в его двадцать семь можно дать больше тридцати. В Америке она даже взглядом не удостаивала двадцатисемилетних выпускников университета и представить себе венца такого возраста просто не могла. Какими науками он занимается? Пишет диссертацию о малоизвестных художниках?

Теперь солнце освещало только купидонов на крышах старых зданий по Опернринг. Ей может понадобиться пальто. Пожалуй, стоило бы купить. Но

вспомнив австрийскую одежду – либо кожаную, либо из толстой шерсти, – достала свою черную французскую пелеринку. Она выглядела немного претенциозно; но посмотрев в зеркало, решила, что отрекомендуется представителем нью-йоркского Музея современного искусства, только что прилетевшим из Парижа. Ведь почти так оно и было, правда?

Немного пройдя пешком, Эдит остановилась возле нужного дома на Швиндгассе, буквально за углом от Бельведера. Как-то внезапно стемнело. Улица была узкая, вымощенная булыжником; напротив находилось болгарское посольство, а рядом – что-то под названием «Польский читальный зал»; в соседнем квартале вниз по улице тускло светились окна кофейни, потерявшей былую элегантность. В вестибюле дома она прочитала на медных дощечках имена жильцов, поднялась по мраморной лестнице на один пролет и позвонила в дверь.

«Сээ-вээ-рин», – прошептала она себе.

Она приподняла подбородок, полагая, что, когда откроется дверь, придется смотреть снизу вверх; ведь она решила, что он высок, худ и бородат. Как ни удивительно, но пришлось ей смотреть чуть-чуть сверху вниз. Открывший дверь парень был чисто выбрит, одет в спортивные туфли, джинсы и футболку; выглядел он как самый дикий американский турист, попавший в Европу. Впечатление довершала крикливая университетская курточка, черная с кожаными рукавами и чересчур большой золотой буквой «I» на груди. «Американское барокко», – подумала Эдит. Наверное, это университетский приятель Северина Уинтера.

«Скажите, Северин Уинтер здесь живет?» – неуверенно спросила Эдит.

«Конечно, здесь», – сказал Северин.

Он отпрыгнул назад – скорее как боксер, поддразнивающий противника, нежели как хозяин, приглашающий гостя войти в дом. Но улыбка его была совершенно обезоруживающей, немного мальчишеской. Эдит заметила сломанный, со щербинкой чуть ли не до десны, зуб и не оставила без внимания его темные густые и пушистые волосы. «Медвежонок», – подумала она, входя.

«Меня зовут Эдит Фаллер, – сказала она и неожиданно для себя смутилась. – Я приехала посмотреть картины вашего отца. Вы ведь писали в Музей

современного искусства?»

«Да-да. – Он улыбнулся. – Но я не думал, что они на самом деле кому-то нужны».

«Что ж, я пришла взглянуть на них», – сказала она и почувствовала себя неловко, оттого что ее слова прозвучали слишком холодно.

«И вы пришли вечером? Разве в Нью-Йорке не принято смотреть картины при дневном свете?» – спросил он.

Она снова смутилась, но потом поняла, что он шутит, и засмеялась – он был забавен, этот медведь. Эдит вошла в гостиную: комната была вся увешана картинами, отчего не удавалось толком разглядеть ни одной, и битком набита книгами, фотографиями и всевозможными безделушками. Эдит подумала, что гостиная – лишь верхушка айсберга, одна из гор континента. Комната была так заставлена вещами, что она никого не заметила в ней, и когда услышала, как он представляет ее присутствующим, слегка вздрогнула от неожиданности. Там была женщина лет так от сорока девяти до шестидесяти двух: с плеч у нее свисала какая-то неряшливая хламида с разрезом, кое-как подобранная и подпоясанная – казалось, это одеяние наспех скроено из покрывала в стиле «ар нуво». То была фрау Райнер.

«Подруга моей матери, – сказал Северин Уинтер. – Тоже была натурщицей».

Испещренное морщинами мрачное лицо и огромный рот – вот и вся натура, которую в данный момент являла собой фрау Райнер; тело ее терялось в складках странного наряда.

Далее последовали два практически неразличимых человека, их имена ошеломляли не меньше их внешности и напоминали название незнакомого блюда, которое вы никогда бы не рискнули заказать, предварительно не спросив совета. Им было лет по шестьдесят с лишком, и выглядели они как шпионы, или гангстеры, или вышедшие в тираж боксеры, проигравшие большинство своих матчей. Тогда Эдит еще не знала, что Северину Уинтеру они приходились чуть ли не любимыми дядюшками. Звали их Зиван Княжевич и Васо Триванович, старые четники, улизнувшие и от Тито, и от партизан в самом конце гражданской войны в Югославии. Они-то, наравне с Катриной Марек, и участвовали в воспитании Северина Уинтера, учили его борьбе и советовали ему

поехать тренироваться в Америку, чтобы когда-нибудь положить на лопатки русских. В молодости они выступали за команду Югославии в соревнованиях по вольной борьбе. Васо Триванович завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх 1936 года в Берлине, да и Зиван Княжевич был не хуже.

Как настоящие рыцари, Васо и Зиван поцеловали Эдит руку. А фрау Райнер протянула ей свою, да так высоко, что Эдит догадалась – надо поцеловать; неожиданно для себя она так и сделала. Рука напоминала шкатулку для колец – духи, к ужасу Эдит, оказались такие же, как у нее самой. Похоже, ей на сей раз изменил вкус.

Вокруг деревянного с инкрустацией массивного стола с упругой грацией мускулистого оленя без устали двигался Северин Уинтер.

«Хотите стаканчик «Кремзер Шмит»? – спросил он Эдит. – Или пива?»

Пиво она не любила, а «Кремзер Шмит» прозвучало для нее как сорт сарделек, но она рискнула и с облегчением обнаружила, что это отлично охлажденное и вполне приличное белое вино.

«Дядюшки» болтали друг с другом по-сербохорватски. Даже Эдит понимала, что их немецкий очень сомнителен; один из них к тому же был туговат на ухо, и, обращаясь к нему, приходилось кричать. Фрау Райнер улыбалась во весь рот, глядя на Эдит, словно та была овощной закуской, которую предстояло съесть. За Северином, который выгодно отличался от окружающих, приятно было наблюдать. Он казался обаятельным принцем. Ей еще не доводилось видеть человека столь раскрепощенного. С жуткого патефона доносилась музыка Моцарта, и Северин ни секунды не сидел спокойно: он раскачивался в кресле, вскидывал голову. Эдит не могла понять, почему он носит эту ужасную куртку, может, у него шрамы на руках?

Фрау Райнер засыпала Северина вопросами, которые он для Эдит переводил на английский.

«Фрау Райнер думает, что в Вене вы не могли найти такую пелеринку», – сказал он.

«Это из Парижа», – сказала Эдит, и фрау Райнер кивнула.

«А ваши сапоги не иначе как из Нью-Йорка».

Прямо в точку.

Эдит, однако, не могла вспомнить ни одного американского колледжа, начинающегося на «I». А какой безвкусный желтый цвет!

Потом все оказались на улице. Эдит подумала, что они выглядят клоунской командой. Борцы-ветераны в темных шпионских пиджаках и не то в шинелях, не то в маскировочных чехлах для орудий вели себя как расшалившиеся школьники в раздевалке спортивного зала, они пихались и толкали друг друга. Фрау Райнер подхватила Северина под руку справа, а Эдит естественно очутилась слева. Он на ходу исполнял для них роль переводчика.

«Шиле иногда обедал здесь, – сказал он Эдит. Фрау Райнер тут же уловила слово «Шиле» и загудела ему в ухо что-то по-немецки. – Она говорит, – переводил Северин, – что в последний год жизни Шиле она, будучи еще ребенком, позировала ему».

«Он умер в двадцать восемь лет», – припомнила Эдит и почувствовала себя полной идиоткой. Северин посмотрел на нее так, будто она заявила: «Во время дождя становится сыро».

«Но я этому не верю, а вы как хотите», – сказал Северин.

«Чему-чему? Тому, что ему было двадцать восемь? Тому, что он умер?»

«Я не верю, что фрау Райнер позировала ему, будучи ребенком. Все, что он написал в последний год, хорошо известно, и там нет ее изображений даже среди набросков. Если только работа вышла столь неудачной, что он ее уничтожил, хотя это не входило в его привычки. Фрау Райнер часто позировала художникам – правда, не так часто, как моя мать, и очень жалеет, что Шиле и Климту могла служить моделью только в детском возрасте».

Фрау Райнер опять сказала что-то Северину, и он перевел:

«Она признает, что Климту не позировала никогда».

Фрау Райнер что-то еще добавила.

«Но она утверждает, что однажды с ним разговаривала, – прошептал Северин Эдит. – Это, может быть, и правда, но она тогда была слишком мала, чтобы запомнить».

Эдит удивила его манера близко придвигаться во время разговора. Он не мог беседовать, не касаясь ее, не стискивая, не подходя вплотную к ней, но она не чувствовала в этом ничего двусмысленного и сексуального. Так же он вел себя со старыми четниками.

Истинная правда: разговаривая, Северин не мог держать руки при себе. Позже меня раздражало, как он лапал Утч, – я имею в виду прилюдно, на вечеринках. Он просто мучил ее во время разговора. Конечно, мы с Эдит вели себя более сдержанно. Впрочем, надо признать, что он и меня лапал точно так же. Всегда либо обнимал за плечи, либо хватал за руку и держал ее, отмечая пожатием конец каждой фразы. Иногда он щипался; я даже помню, что он схватил меня за бороду. Уж такие у него были манеры, он постоянно находился в движении. Я не согласен с Эдит насчет его абсолютной раскованности. Иногда мне кажется, окружающие просто не замечают, до такой степени он застенчив, и принимают его застенчивость за раскованность.

Так или иначе, Эдит он показался существом благодушным. Когда он говорил, то выглядел значительно старше, когда улыбался, был ребячлив – и это ей нравилось.

Я думаю, можно проникнуться добрыми чувствами к человеку, если видишь, как хорошо к нему относятся его друзья. Эдит почувствовала, как обожают его фрау Райнер и борцы.

– Но он все равно понравился бы мне, – заявила Эдит, – потому что он был первым мужчиной, шутившим со мной. Я хочу сказать – он был смешной. Он не из той породы клоунов, что высмеивают все вокруг, нет. Просто он сам был смешной. И почти во всем находил что-то забавное, смешное, даже во мне, а ведь я, конечно, считала себя очень серьезной.

Что ж, оставим домыслы. Я думаю, что с Эдит произошло то, что рано или поздно происходит со всеми: она почувствовала ревность.

Они пошли в сербский ресторан, где публика знала: Васо и Зиван – герои, и поэтому все хлопали их по плечу и бросали в них стебельки сельдерея. На Эдит, Северина и фрау Райнер тоже падали лучи их славы. В ресторане звучала томительная струнная музыка, в пище было слишком много специй, и вообще там было слишком много всего, но Эдит понравилось.

Северин Уинтер рассказал ей о своих родителях (уверен, что и сказку про зоопарк не упустил); он рассказал ей и о побеге Зивана и Васо из Югославии, и о фрау Райнер – как она была самой модной натурщицей в городе (Эдит уже начинала этому верить).

«Всему, что она умела, она научилась у моей мамы», – сказал Северин. А потом объяснил, что буква I на его куртке – от названия штата[1 - Имеется в виду штат Айова (Iowa). (Здесь и далее – прим. ред.)] и что самый больший рубеж, который он взял, – это второе место в соревнованиях Большой Десятки, в весовой категории 157 фунтов.

«А сколько вы весите сейчас?» – спросила Эдит. Он выглядел огромным, хотя в те времена был еще относительно строен.

«Сто пятьдесят восемь», – сказал он. Она не поняла, в шутку это или всерьез. С ним всегда было так.

Потом он навалился на стол и сказал:

«Давайте утром, а? Посмотрим Бельведер, объездим несколько квартир – старые друзья моих родителей сохранили лучшие картины отца. Ему, по-моему, не везло с их продажей. Во всяком случае, денег он на этом не нажил. Вы представить себе не можете, как я рад, что вы приехали».

Эдит смотрела на его глаза, волосы, на сломанный зуб.

«Я умираю – хочу уехать из Европы, – сказал он ей. – Здесь все гибнет. Очень хочу вернуться в Америку, но мне надо скинуть сначала картины отца. Это такая

проблема, честное слово».

И тут Эдит поняла, что он говорит о деньгах, ведь он беседовал с представителем нью-йоркского Музея современного искусства, только что прибывшим из Парижа, чтобы посмотреть и оценить картины Курта Уинтера. Она вдруг сообразила, что не имеет ни малейшего представления о том, сколько может заплатить музей, но наверняка немного. Боже, а может, Курта Уинтера они вообще согласятся принять только как подарок?!

Ведь бывает и так, не правда ли? К тому же мама сказала: одну, максимум две картины.

Почему-то она коснулась его руки. Эта его чертова привычка оказалась заразной. Но, прежде чем она успела что-либо ответить, к Северину прильнула фрау Райнер, куснула его за ухо, взяла за подбородок и сочно поцеловала прямо в губы. Эдит увидела, как скользнул внутрь ее язык. Северин не выглядел удивленным – просто прервали его беседу, но фрау Райнер бросила на Эдит такой взгляд, под которым та сникла. Она почувствовала себя девчонкой. Да уж, подруга матери. И Эдит выпалила:

«Я весь вечер смотрю на ваше платье и не могу разобраться, как оно сшито».

Фрау Райнер удивилась, что Эдит обратилась к ней, и, конечно, не поняла, о чем речь. Но все сказанное адресовалось Северину.

«Может быть, Густав Климт придумал для вас эту модель?» – поинтересовалась она.

На слово «Климт» фрау Райнер сделала стойку, а Эдит продолжала:

«Я хочу сказать, это в его манере: и блестящая позолота, и маленькие квадратики, и египетский разрез глаз. Но мне кажется, вы драпируетесь не совсем так, как задумано».

Она замолчала, смущенная; раньше ей несвойственно было так вести себя.

И Северин, сохраняя на лице свое мальчишеское выражение, ответил несколько покровительственным тоном, к которому Эдит привыкла, ведь у нее всегда были старшие по возрасту поклонники.

«Не хотите же вы, чтоб я в самом деле это перевел? – спросил он и при этом улыбнулся, показав ей смешную щербинку. – Впрочем, если хотите, я готов».

«Пожалуйста, не надо, – сказала она. И в порыве откровенности добавила: – Просто я подумала, она слишком стара для вас».

Когда до него дошло, он впервые сильно смутился. Она почувствовала себя неловко и едва не сказала: мне-то что до этого?

Домой они ехали, набившись в одно такси. Фрау Райнер сидела у Северина на коленях; дважды она принималась лизать его ухо. Эдит оказалась зажатой между ними и то ли Зиваном, то ли Васо – она так и не научилась их различать.

Они высадили Эдит у ее отеля на Шварценбергплац.

«Ah, Geld», – сказала фрау Райнер, взглянув на здание отеля. Познаний Эдит в немецком оказалось достаточно, чтобы понять слово «деньги».

«Ну, вы знаете, каков этот Музей современного искусства», – сказал Северин по-английски.

Это было сказано для Эдит, не для фрау Райнер, и Эдит поняла: он знает, что у нее деньги есть. Может, и в самом Музее современного искусства он усматривает что-то смешное?

Она чувствовала себя прескверно. Но когда она выползала из машины – при этом один из борцов, как телохранитель, придерживал распахнутую дверцу машины, – Северин поднял фрау Райнер со своих колен, водрузил ее на сиденье, обошел вокруг машины и сказал Эдит:

«Я с вами согласен. И буду ждать вас у Бельведера в десять».

Он так быстро пожал ей руку, что она не успела ответить рукопожатием, а он немедленно вскочил обратно в машину. Борцы-ветераны что-то кричали ей хором, но она, уже войдя в холл отеля и отразившись в двадцати обрамленных золотом зеркалах, вдруг засомневалась, что имел в виду Северин Уинтер, согласившись с ней. Платье фрау Райнер? Или что та стара для него?

Эдит прошла в свой номер и залезла в ванну. Она злилась на себя. Она была явно не в своей тарелке и поэтому вела себя неестественно. Она решила, что все они очень странные люди, жители большого города, которые, как написала ее мать, «так и не приняли всерьез двадцатый век». Точное замечание.

Однажды я спросил Северина, не воспринимает ли он так называемую сексуальную свободу как вывих. «Я весь двадцатый век воспринимаю как вывих», – сказал он. И сверкнул на меня дыркой от выбитого зуба. Он никогда не говорил всерьез!

Прежде чем лечь спать, Эдит просмотрела все свои платья, пытаясь решить, в чем завтра идти в Бельведер. И тут разозлилась еще больше: никогда она так долго не мучилась, выбирая наряд. Лежа в постели, она наблюдала, как по потолку проносятся огни, пробиваясь через высокие окна и плотные складки густо-бежевых гардин. «Почему я так часто хожу в черном?» – размышляла она. Уже засыпая, она подумала: хорошо бы завтра Северин Уинтер не надевал в Бельведер свою ужасную куртку с буквой.

Все-таки мне довелось увидеть эту куртку. К тому времени как мы с Утч познакомились с Северином, он из нее уже вырос. В буквальном смысле. Я полагал, что куртку давно выбросили или упрятали куда-то подальше. Однажды, когда мы сидели на ступеньках нашего дома, на тротуаре появилась Эдит и села между нами. Северин очень переживает «из-за всего этого», сказала она. Мы с Утч как раз говорили о том же. Вот и Эдит тревожилась по поводу «всего этого». Мы знали, что Северин несчастлив, но наши отношения были для всех еще внове, а он прямо причины не объяснял, и мы сразу не разобрались.

– Я думаю, надо поговорить, – сказала Эдит. – Нам всем четверым, вместе.

Мы сидели на ступеньках и ждали Северина. Он отвозил дочек к друзьям поиграть. Наши дети тоже куда-то ушли было. Стояла ранняя весна, и было довольно прохладно.

– А Северин не против такого разговора? – спросила Утч у Эдит.

– В любом случае мы должны поговорить, – сказала Эдит.

Вот так мы сидели и ждали. Северин остановил машину прямо перед нами, заглушил мотор и посмотрел на нас троих, устроившихся на ступеньках. На лице его была ухмылка. Я поймал себя на том, что держу за руку и Эдит, и Утч. Он сидел в машине и улыбался будто в объектив фотоаппарата, а когда вышел и направился к нам – я почувствовал, как напряглась рука Эдит. Вот тогда-то я и увидел его в этой чертовой куртке с буквой. Рукава еле закрывают локти, а сама куртка едва доходит до пояса. Футболка, джинсы, кроссовки – все было привычным, превратилось чуть ли не в униформу, но куртку я никогда раньше не видел, хоть и знал о ней. Даже проклятая погода в тот день была точно такой, как тогда в Вене!

Северин не успел подойти к крыльцу. Эдит вскочила и подбежала к нему, когда он еще стоял у машины.

– Где ты ее нашел? – крикнула она, ухватившись за куртку.

Лицо ее было обращено к нему, так что мы не могли видеть, рада она или рассержена. Она дернула его за рукав, потом обняла. Затем, я думаю, он слегка подтолкнул ее к машине, а может, она шагнула к машине сама и он просто поддержал ее под локоть. Она села на место пассажира, точно в профиль к нам, так что по ее лицу я ничего не понял. Северин прыгнул на место водителя и торопливо помахал нам. По-моему, в нашу сторону он при этом не смотрел.

– Потом! – крикнул он.

Эдит даже не пошевелилась, и они уехали.

– Северин редко уступает водительское место, – после сказала Эдит.

– Что же ты об этом думаешь? – спросил я.

И Эдит сказала:

– Я с самого начала считала, что он очень хороший водитель.

Верный приверженец прошлого, Северин Уинтер вдруг откопал свою старую куртку с буквой и украл у нас нашу сцену прежде, чем мы смогли ее разыграть.

3. Итоги разведки: Утч (весовая категория 134 фунта)

9 июля 1945 года союзники оккупировали и четвертовали город. Американцы и англичане заграбастали лучшие жилые кварталы, французы прибрали к рукам рынки и районы крупных магазинов, а русские (у которых были далеко идущие реалистические планы) обосновались на рабочих окраинах и в центре города, поближе к посольствам и правительственным зданиям. Каждый из присутствующих на этом великом пиршестве проявил свои специфические вкусовые пристрастия.

Все знают, что русские не смогли потрудиться в Вене так, как они потрудились в Берлине; но не все, возможно, знают, как они старались. В шестнадцати из двадцати одного районах города во главе полицейских управлений встали коммунисты – какое-то русское чудо. За десять лет оккупации не менее одной трети антисоветски настроенных горожан просто пропали без вести. Возможно, они не различали, где чья зона, забрели не туда и потерялись. Так или иначе, но канцлер Фигл вынужден был признать: «Ничего другого нам не остается, кроме как написать против длинного списка имен «пропали без вести». Еще большее чудо.

Если только ты не коммунист или если у тебя нет особых склонностей к стрельбе и насилию, ты никогда не захочешь жить в советской зоне. Судьба Утч была предопределена. Семи лет от роду, у нее уже появилась причина вступить в коммунистическую партию; пусть ее страж, капитан Кудашвили, и не казался героем многим добропорядочным жительницам Айхбюхля, но Утч он спас. Он не был отцом, но он выступил в роли повивальной бабки и помог корове родить ее.

Капитан Кудашвили жил, конечно, в советской зоне, в четвертом районе. К счастью для Утч, он оказался идеалистом. Раньше ему не приходилось видеть послевоенный детский приют. Утч не приходилось видеть Вену. День, когда капитан Кудашвили шел с ней по Аргентиниерштрассе (приют находился рядом

с Зюдбанхоф), был первым за долгое время днем, который она провела вне коровника или казармы. Я думаю, что если ты пару дней провел в корове, то тебе приятно находиться где угодно, лишь бы не в ней. А дома по Аргентиниерштрассе с их декоративными украшениями напоминали ей книги, сворованные ее мамой.

Свидетельство о рождении Утч Кудашвили прикрепил к лацкану ее пальто. Он повязал ей шарф, снятый с мертвого солдата, четырежды обернув ее шею, и все равно шарф болтался чуть ли не до земли. Как только они пришли в приют, Утч догадалась, что ей предстоит здесь остаться. Кудашвили, конечно, предупредил ее об этом, но тогда она еще не понимала по-русски.

Приютская толпа демонстрировала отсутствие целого поколения: изобиловали старики, желавшие сдать детей; поколение родителей (потерянное поколение) погибло во время войны. Только один Кудашвили представлял поколение родителей; все глазели на него. Одна старая женщина подошла к нему и плюнула прямо на грудь, но это из-за советской формы. Другая бабуля в это время пыталась избавиться от пятерых или шестерых детей. Служитель приюта держал одного, другой вязал двоих, но все равно двое или трое все время висели на бабке. Только ей удавалось пробраться к двери – кто-то из детей настигал ее. Все внуки орали, но Утч поразили вовсе не орущие дети. Поразили те, кого уже оставили. Они не плакали, они даже не двигались. Они были немы и безучастны, и Утч казалось, что никакого другого выражения на их лицах никогда не будет.

Кудашвили уже собирался подписывать что-то, но Утч схватила его за руку. Она не отпускала его, кусала и пыталась опутать своим длинным шарфом. Кудашвили не протестовал – возможно, ему никогда не нравилась сама идея детских приютов. Он поднял девочку и унес оттуда. Даже сегодня она утверждает, что, покидая приют, она кричала всем: «Auf Wiedersehen!»[2 - До свидания! (нем.)]

Пока они шли обратно по Аргентиниерштрассе в четвертый район, Кудашвили отколол ее свидетельство о рождении и положил в бумажник среди своих документов. На его груди промеж медалей плевок старухи сиял как яичный белок. Кудашвили почистился носовым платком. Потом снял одну из медалей и приколол Утч на лацкан пальто. Эта медаль за боевые заслуги хранится у нее до сих пор; как мне говорили, капитан Кудашвили отличился, героически защищая великий город Киев, столицу Украины. Но, возможно, это был лишь знак

различия.

Итак, Утч вернулась обратно в четвертый район со своим покровителем, капитаном Кудашвили, и целых десять лет, пока войска союзников стояли в оккупированной Вене, она прожила в квартире с капитаном, а также со взятой по случаю экономкой, нянькой и прачкой по имени Дрекса Нефф. В отличие от большинства жителей Вены, фрау Нефф было наплевать на русских, но капитан Кудашвили ей нравился. Эта старая язвительная женщина, брошенная мужем перед войной, приобрела известность тем, что за двадцать шиллингов в неделю оказывала одному юноше, слишком хилому, чтобы стать солдатом, некоторые дополнительные услуги, когда он заходил за бельем своей матери.

Дрекса Нефф ругала Утч, насмехалась над ней, но и заботилась при этом. Кудашвили на всякий случай сам водил каждое утро Утч в школу, а Дрекса Нефф забирала и отводила домой. Когда дети в школе начали болтать лишнее, Дрекса Нефф научила отвечать им: «Капитан Кудашвили – человек высокоморальный, хоть и русский, и уж получше многих ваших так называемых отцов». Утч, конечно, никогда такое не произнесла.

Именно Дрекса Нефф подготавливала Утч к тому, что она станет русской. Дрекса считала, что учеба в школе – потеря времени для Утч.

«Разве там тебя научат, как жить в России теперь? – говорила она по дороге из школы. – Ведь именно туда он и заберет тебя, Leiebchen[3 - Милочка (нем.).], если только не оставит здесь, но ты должна знать, что герр Кудашвили человек высокоморальный и не оставит тебя где ни попадя».

Так что Утч стала присматриваться к своему опекуну и учиться у него русскому языку, а также игре под названием телефон. Она усвоила, что никогда не должна выходить на улицу, не позвонив сначала по 06-036-27… Тогда не было прямой связи – Утч должна была назвать номер оператору. Она выучила наизусть: «Null sechs, null sechsunddreizig, siebenundzwanzig». Это был рабочий телефон капитана Кудашвили; она никогда не знала, где находится эта работа, и он никогда не отвечал на звонок сам. Она звонила, а потом ждала – в квартире или в прачечной, где в облаках пара стирала и болтала Дрекса Нефф.

Обычно Утч сопровождали двое мужчин. Они были не из русских, никогда не носили форму, но работали на русских. Утч помнила, что они глаз с нее не

спускали. Иногда, вместо того чтобы идти рядом, они шли на некотором расстоянии, и если с ней кто-то заговаривал, двое внезапно подходили, и этот человек тут же извинялся и исчезал.

Гораздо позднее она поняла, кто они и почему нужно было ее защищать. Большинство людей в русской зоне нуждались в охране, но Утч, которую называли «та дочка, или кто она там, русского капитана», приходилось охранять от антисоветчиков. Ее охранники были членами самой ужасной гангстерской банды в Вене – банды Бенно Блюма, занимавшейся торговлей на черном рынке ценнейшими нейлоновыми чулочками, сигаретами – это если говорить только об их малом бизнесе. Но к чему они по-настоящему были причастны, так это к «исчезновению» той самой трети антисоветского населения Вены. Их малый бизнес процветал, защищенный в русской зоне от полиции в благодарность за особые услуги, предоставляемые русским. Они убивали людей. Вполне возможно, что капитан Кудашвили как раз этим и занимался, о чем соседи Утч, скорее всего, догадывались. Никто из жителей Вены, знавших историю Утч, не желал ей зла, но она была связана с Кудашвили, а на него, конечно, не прочь были накликать беду. Банда Бенно Блюма ввозила сигареты и нейлоновые чулочки, а вывозила людей, и навсегда. Пожалуй, Утч была наиболее оберегаемым ребенком в четвертом районе.

Северин Уинтер, который никогда не любил быть вторым, заявлял, что вовсе не Утч, а он был самым оберегаемым ребенком в четвертом районе. Его, конечно, защищали не русские, а от русских – ситуация более типичная. В конце войны мать вернулась с ним из Лондона; у нее все еще оставалось много работ Курта Уинтера, и часть из них находилась в Вене. Она приехала со слабой надеждой найти самого Курта Уинтера и настаивала на том, чтобы ей вернули квартиру на Швиндгассе, хотя друзья и объясняли, что квартира находится в русской зоне. Она настаивала. Где же еще сможет найти ее муж?

В Лондоне во время войны Катрина Марек в театре не играла и больше на сцену не вернулась. В Лондоне она стала натурщицей и в Вене в 1945 году с головой ушла в эту работу. К тому времени, как Северин начал учиться в частной школе для мальчиков, она уже была хорошо известна. Она не хотела, чтобы ее сын забыл английский язык. «Вот твой шанс выбраться из этой старой конюшни, из этого вонючего хлева», – сказала она и настояла на том, чтобы он ходил в американскую школу; каждый день он отправлялся в американский сектор, а потом возвращался домой в русскую зону. Равносильно тому, что дразнить красной тряпкой быка. Но у Северина были сопровождающие, которые знали

свое дело. Друзья матери – самые востребованные натурщики в Вене – охраняли его. Северин уверяет, что их, как и его мать, художники в Венской академии буквально раздирали на части. Катрина познакомилась с ними, когда один живописец попросил ее поработать вместе на смешанном сеансе. И это были, конечно же, Зиван Княжевич и Васо Триванович, борцы с Берлинской олимпиады 1936 года. В период оккупации Вены Васо и Зиван еще могли похвастаться молодостью и силой. К тому же их окружал ореол партизанского прошлого, а стойкая нелюбовь к русским удовлетворялась ежедневными путешествиями по русской зоне.

Но Северин Уинтер – полное дерьмо, если думает убедить меня, будто два бывших борца могли тягаться с бандой Бенно Блюма. К счастью для борцов, пути их не пересеклись. Этих бывших атлетов непременно нашли бы распухшими в Дунае с нейлоновыми чулками на голове, закрученными вокруг шеи, – почерк банды Бенно Блюма.

Вообще-то удивительно, что пути их не пересеклись, – например, когда Утч каждое утро шла в школу с капитаном или за покупками с наемными убийцами Бенно Блюма, тащившими потом ее шоколад; это удивительно, что ни разу на улице ей не встретился крепкий темноволосый мальчик небольшого роста в компании борцов. Возможно, они просто этого не помнят. Вполне вероятно, что хоть раз они повстречались, потому что десять лет Утч прожила на втором этаже соседнего с болгарским посольством дома, а прямо через Швиндгассе, напротив, тоже на втором этаже жила Катрина Марек. Они могли заглядывать друг другу в окна.

И они пользовались услугами одной и той же прачки. Наверняка хоть однажды, когда Утч сидела, слушая Дрексу Нефф, или помогала ей складывать чистое белье, в облаках пара возникал Северин, сопровождаемый своими борцами, и спрашивал, не готово ли белье его матери.

– Мама сдавала в стирку мало вещей, – сказал Уинтер. – На ней вообще было мало одежды.

Такое вот заявление. Каждое утро Катрина Марек отправлялась позировать в длинном коричневом манто из ондатры, подаренном ей одним американским художником, которому она позировала в Лондоне. У манто был огромный воротник, который закрывал даже макушку, а из-под манто выглядывали оранжевые чулочки. Те самые – по крайней мере, точно такого же цвета, –

которые носила модель Шиле, изображенная на холстах «Девушка в красной блузке» (1913) и «Женщина с пурпурным боа» (1915). У Катрины Марек было несколько пар таких чулочек. Ее обычная стирка и в самом деле не была обременительна. Центральное отопление тогда в Вене было редкостью, и Катрина, когда не позировала, оставалась в манто. Под манто были только чулочки и больше ничего.

– Приходя домой, мама одевалась, – говорил Уинтер. – А если приходила совсем уж поздним вечером, то нет.

Утч помнила, что слышала о Катрине Марек, но не могла вспомнить, видела ли ее когда-нибудь.

– Она была высокая? – спрашивала она Северина. – Блондинка? Да, я помню ее. Такое тонкое лицо…

– Она была брюнетка небольшого роста, – говорил Уинтер, – и такая же широкоскулая, как ты.

Он же, в свою очередь, не мог вспомнить капитана Кудашвили, хотя уверял, что часто о нем слышал.

– Ja, конечно, герр Кудашвили. Он был грозой района, генералом Швиндгассе. «Веди себя хорошо, – говорили мамы, – а то отдадим тебя Кудашвили». O, ja, он был блондинистее самого немецкого немца и здоров, как русский медведь. Он носил башмаки на толстенной подошве.

– Никогда, – говорила Утч. – Он был высокий и худой, с удлиненным печальным лицом и усами как черная щетка. Глаза – серо-голубые, стального цвета.

– Ах, этот! – вскрикивал Северин. – Конечно, я его помню.

Но он не помнил. Зуб даю, что не помнил. Тот самый сломанный зуб Северина.

Но почему же они ничего не могли вспомнить? Детей тогда было не так много. Так что, являясь редкими, единичными экземплярами, дети должны были проявлять больше взаимного интереса. Даже сейчас, когда их пруд пруди, они

имеют привычку рассматривать друг друга.

– Многое забывается, – говорила мне Утч.

Да, в особенности у нее. Она, наверное, испытывала неловкость за темную деятельность своего покровителя. И еще Дрекса усложняла ситуацию. Несмотря на ее болтовню, вечерами Кудашвили позволял ей ужинать вместе с ними.

«Вы, капитан, наверное, слышали, – говорила Дрекса, – про старого Гоца, у которого магазин автодеталей на Аргентиниерштрассе? Ну, он много лет им владел».

«Гоц?» – спрашивал Кудашвили. Его немецкий был лучше, чем он пытался изобразить.

«Пропал, – говорила Дрекса. – В одночасье. Ночью. Жена проснулась – постель пустая. Она проснулась, потому что вдруг замерзла».

«Люди – несчастные, слабые существа, Дрекса, – говорил Кудашвили. – Надо выходить замуж за приличного человека, если не хочешь, чтобы он сбежал».

А Утч он говорил:

«Тебе повезло. Тебе не надо будет выходить замуж до тех пор, пока ты сама этого не захочешь».

«Ja, Утчка выйдет замуж за царя!» – кудахтала Дрекса. Она знала, что цари в России перевелись, но ей нравилось, когда капитан вскидывал на нее глаза и поднимал свои черные брови.

«Царей больше нет, Дрекса».

«Ja, mein Hauptmann[4 - Да, капитан (нем.).], и Гоца тоже нет».

– Ты ведь, наверное, понимала, что происходит, – как-то сказал Северин Утч.

– Да я и раньше понимала, – ответила Утч.

– Так какая же разница между ними и гестапо? – спросил Уинтер.

– Кудашвили заботился обо мне, – сказала она.

Однажды вечером мы засиделись после ужина в нашей гостиной. Когда мы пытались разговаривать вчетвером, часто возникала какая-то неловкость; в тот момент я беседовал с Эдит, а Утч – с Северином. Вчетвером все же общаться трудно. Главное тут – не скрытничать, но именно Северин все портил. Он либо сидел мрачный и молчал, либо втягивал Утч в долгие воспоминания о прошлом, предоставляя нам с Эдит роль слушателей. Если он был не в своей тарелке, то хотел, чтобы остальные чувствовали себя неловко. А иногда, у них дома, когда вроде бы завязывался непринужденный разговор, Северин вскакивал, подавал пальто Утч и уводил ее немедленно после ужина. Он вдруг изрекал:

– Пойдем, мы мешаем им говорить об их творчестве.

Именно по его инициативе всегда получалось так: он уволакивал Утч к себе домой или оставался с ней в нашем доме, и тогда я оказывался с Эдит в их доме. Он вносил прусский порядок в наши отношения, а потом вышучивал их.

– Меня просто бесит, – сказал он однажды, когда мы трое были обескуражены его молчанием: за вечер он не произнес ни слова! – Мы просто тянем время, прежде чем разбежаться по постелям. Почему бы не исключить из расписания всю часть, связанную с общей трапезой, и тем самым сэкономить немного денег?

Что ж, мы так и поступили, и ему явно пришлась по вкусу холодноватость такого общения. Я приезжал к ним после ужина, а он выскальзывал через черный ход в тот момент, как я входил. А если он приезжал к нам первым, то садился, не снимая пальто, бормоча «да» и «нет», пока я не уезжал к Эдит. Утч говорила, что потом пальто он снимал.

Но уж лучше так, чем когда он сознательно пытался наводить на нас скуку, произнося за ужином монологи, которые он затем переносил в гостиную с единственным намерением – усыпить нас. Однажды вечером он говорил так долго, что Эдит пришлось сказать:

– Северин, я думаю, мы все устали.

– О, – сказал он, – что ж, тогда давайте назовем ночь ночью и отправимся спать, – сказал он, обращаясь к Эдит. Он чмокнул Утч, потряс мне руку. – В таком случае, в другой раз. У нас ведь еще куча времени, правда?

Я помню один бесконечный вечер, начавшийся с того, что он сказал Утч:

– Ты помнишь демонстрацию протеста у греческого посольства в пятьдесят втором году?

– Мне было только четырнадцать лет, – сказала Утч.

– Мне тоже, но я помню все очень отчетливо, – сказал Северин. – Орда демонстрантов атаковала посольство Греции; они протестовали против казни Белояниса.

– Я не помню никаких Белоянисов, – сказала Утч.

– Ну, он был греческим коммунистом, – сказал Северин, – но я говорю сейчас о нападении на греческое посольство в Вене. Русские не позволили полиции послать вооруженный отряд на подавление беспорядков. Самое смешное, что протестующих привезли к посольству на советских грузовиках. Теперь помнишь?

– Нет.

– А еще смешнее, что русские разоружили всю полицию – по крайней мере в нашем секторе. Даже резиновые дубинки отобрали. Интересно, может, это придумал Кудашвили.

– У меня плохая память, – сказала Утч.

– У Северина тоже, – сказала Эдит.

– Что, например, он забыл? – спросил ее Уинтер.

– Про свою мать, – сказала Эдит.

Мы с Утч спокойно жевали, в то время как Уинтер сидел с озадаченным видом.

– Что именно? – спросил он Эдит.

– Как она позировала, – спокойно сказала Эдит, – и что почти все время ходила голая.

– Конечно же, я это помню! – вскричал он.

– Расскажи историю про манто и про охрану, – сказала Эдит. – Интересная история.

Но Северин принялся за еду.

Я знаю, какую историю имела в виду Эдит. По выходным, когда Северин не ходил в школу, Катрина вынуждена была брать его с собой. Он просиживал в разных мастерских, рисуя и малюя, в то время как настоящие художники пытались воспроизвести облик его матери. Одна из студий располагалась в русском секторе, и здание охранялось. Обычно, когда охранники пропускали кого-то в вестибюль, им давали чаевые, но Катрина, многие годы приходя туда почти каждую субботу, на чай не давала никогда. За руку с маленьким Северином она подходила к охраннику. Он опускал свою дубинку, улыбался, а она, в двух шагах от него, распахивала свое ондатровое манто и, сделав шаг-другой, снова запахивала.

«Хайль Сталин!» – говорила она при этом.

«Гутен таг[5 - Добрый день (нем.).], фрау Уинтер, – говорил охранник – Гутен таг, Севи».

Но Северин никогда не отвечал.

Мне кажется, Северин слишком много думал о своей матери. Должен признаться, что я испугался, впервые увидев те эротические рисунки и картины Курта Уинтера, на которых была изображена мать Северина. Тогда я впервые

переспал с Эдит. Она позвала меня наверх; раньше я там никогда не был. Мы решили, что надо предельно осторожно вести себя с детьми, поэтому шли на цыпочках, а Эдит по дороге заглянула в их комнаты. Наверху в холле я увидел приготовленное для стирки белье. Я зашел в ванную посмотреть на зубные щетки. Там на двери висела ночная рубашка Эдит; я потерся об нее подбородком и понюхал. Потом увидел открытую коробку с геморроидальными свечами (они, конечно, принадлежали Северину).

В спальне Эдит было темно и аккуратно прибрано. Эдит зажгла свечу. Кровать призывно белела. Мы вчетвером несколько дней планировали это. Северин тихонько утащил Утч домой, и мы с Эдит вдруг поняли, что остались одни не только в гостиной, но и во всем доме. Позже меня удивило заявление Утч, будто бы вовсе не так все начиналось. По ее версии, она разговаривала с Северином на кухне, а когда они вернулись в гостиную, то обнаружили, что мы ушли наверх, и якобы только тогда Северин увез Утч домой.

Но какая разница? Я внимательно осмотрел спальню. Я ожидал увидеть разбросанную кругом одежду, но все было в порядке. Здесь лежали книги (мы с Утч никогда не читаем в кровати), и похоже, свечи зажигали часто: на подоконнике застыли цветные пятна воска. Меня удивило, как была игрива Эдит, пока я раздевал ее; это, казалось, несвойственно ей, и я подумал, что в постели они с Северином хулиганят и дурачатся. В отличие от меня. И только когда я лег рядом с Эдит на высокую, в стиле барокко, кровать Северина, тут же увидел эти чертовы рисунки и картины, развешанные по всем стенам – эротическое приданое, выделенное Куртом Уинтером жене для поездки в Лондон. И хотя Эдит вся была для меня новизна и волнение, я смотрел и смотрел на проклятые картины; никто не мог бы оторвать от них взгляд. Тогда я не знал всей истории Курта Уинтера; мы с Эдит говорили в основном о себе.

– Что за черт, – сказал я. – Кто это…

Я хотел спросить, кто художник, но Эдит думала, что я интересуюсь моделью.

– Это мать Северина, – сказала она.

Думая, что это шутка, я попытался засмеяться, но Эдит закрыла мое лицо своим легким телом и задула свечу, так что в этот вечер мне больше не довелось увидеть обнаженную мамашу Северина.

Мы, пишущие исторические книги, часто задаемся вопросом: а что, если бы? Что, если бы Утч и Северин встретились в те далекие дни? Что, если бы покровитель Утч повстречался с Катриной Марек? (В один из тех вечеров, уже после комендантского часа, мать Северина идет под руку по Швиндгассе с одним из обожавших ее художников, который как настоящий джентльмен провожал ее домой, если работал до темноты. Под прожекторами болгарского посольства капитан Кудашвили со своим печально-официальным лицом предстает перед ними и останавливает их. «Ваши документы? – спрашивает он. – На передвижение по городу после комендантского часа у вас должно быть специальное разрешение». Художник пытается предъявить ему холсты и мокрые кисти в качестве удостоверения личности. Кудашвили вежливо – а судя по всему, он был вежливым человеком – просит Катрину Марек распахнуть ее манто из ондатры. Кто знает, как тогда повернулась бы вся история?)

Но Утч и Северин не встретились тогда.

– Эта твоя идея – совершенно дурацкая, – сказала мне Утч однажды. – Понимаешь, если бы мы даже встретились, мы могли бы совсем не понравиться друг другу. Ты слишком даешь волю воображению.

Возможно, и в самом деле это так.

Впрочем, они, конечно, вели совершенно разную жизнь. В марте 1953 года, к примеру, Утч присутствовала на похоронах. Северин – нет. Это были символические похороны – тело находилось далеко от Вены. Она помнит полное искренней скорби пение хора Советской Армии, помнит Кудашвили, утирающего слезы; многие русские плакали, но Утч по сей день думает, что Кудашвили плакал не столько из-за реальной потери, сколько от высоких чувств, вызванных пением. Сама она не пролила ни слезинки. Ей в то время исполнилось пятнадцать, и уже подросли груди, которые вскоре будут производить такое неизгладимое впечатление. Она думала, что это хороший способ умирать – символически, особенно в сравнении с другими смертями, которые ей довелось повидать.

Северину тоже исполнилось пятнадцать; они с мамой и с теми самыми олимпийскими борцами из Югославии напились тогда в стельку, будучи вне себя от радости. Поэтому пересечься дорожки Утч и Северина в тот день вряд ли могли. Несмотря на то, что пивная, где продолжалось празднование, была полна людей, Катрина оставила немного приоткрытыми полы своего манто. Северин

же тогда впервые напился до рвоты. Мне рассказывали, что русская радиостанция весь день передавала Шопена.

Смерть, вызвавшая столько же радости, сколько и горя, – конечно же, смерть Иосифа Джугашвили, грузина, более известного как Иосиф Сталин, который, если уж говорить «если бы», был как никто другой окружен миллионами «если бы».

А что, если бы Утч уехала в Россию? Если бы Земля была плоская, то люди, как сказал один поэт, падали бы с нее все время. Тот поэт знал, что люди и так с нее падают. И капитан Кудашвили был из их числа. Конечно же, он намеревался официально удочерить Утч и взять ее с собой в Советский Союз. Но мы-то, пишущие исторические книги, знаем, как реальность далека от наших намерений.

Кудашвили и оккупировавшие Австрию советские войска покинули Вену в 1955 году. Этот день стал национальным праздником Австрийской Республики; совсем немногие жители Вены сожалели о том, что больше не увидят русских. Утч было тогда семнадцать лет; ее русский был великолепен; ее немецкий был ее родным языком; она даже делала кое-какие успехи в английском, начав учить его по совету Кудашвили. Он, планируя ее будущую жизнь в России, собирался сделать из нее переводчицу, и хотя немецкий, конечно, пригодился бы, английский все же более востребован. Свои письма из России он заканчивал: «Как продвигается твой английский, Утчка?» Он хотел забрать ее в великий город Тбилиси, где она сможет учиться в университете.

Утч съехала с квартиры на Швиндгассе, но белье в стирку все равно приносила старой Дрексе Нефф, хотя это было ей не совсем по пути. В своем новом жилище, в Studentenheim[6 - Студенческое общежитие (нем.).] на Крюгерштрассе, Утч чувствовала себя счастливой, потому что впервые в жизни люди не говорили о ней как об «этой, кто она там, кудашвилиевской» или как о русской шпионке. Не прошло и трех месяцев после ухода русских, как Утч осознала свою привлекательность. Она поняла, что можно позавидовать такой, как у нее, груди, но надо научиться правильно ее «подавать». Она поняла, что ноги – самая невыигрышная, «крестьянская» часть ее тела и нужно научиться их прятать. Она поняла, что любит оперу и музеи – благодаря Кудашвили, – что одевается странно, тоже, видимо, благодаря его воспитанию. В школе, ставшей впоследствии частью Дипломатической академии, она числилась среди лучших учеников, но временами, когда не было писем от Кудашвили, подумывала, что

хорошо бы иметь вторым языком не русский, а английский или французский. Больше всего ей нравилось одной бродить по Вене; она поняла, что ее предыдущие впечатления от города искажались самим фактом присутствия рядом с ней людей из компании Бенно Блюма. Она вовсе не скучала по ним, в особенности по своему последнему сопровождающему – лысому коротышке с дыркой в щеке. Эту дырку, похоже, оставила какая-то огромная пуля; но если это и в самом деле так, то должно быть и выходное отверстие. Оно отсутствовало. Кратер размером в пинг-понговый шарик зиял под глазом как дополнительная глазница: по краям серо-черно-розовый и такой глубокий, что дна, если можно так выразиться, разглядеть не удавалось. Кудашвили сказал, что этого человека пытали во время войны электродрелью и что дырка в щеке – лишь одна рана из многих.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (http://www.litres.ru/dzhon-irving/semeynaya-zhizn-vesom-v-158-funtov/?lfrom=201227127) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

notes

Примечания

1

Имеется в виду штат Айова (Iowa). (Здесь и далее – прим. ред.)

2

До свидания! (нем.)

3

Милочка (нем.).

4

Да, капитан (нем.).

5

Добрый день (нем.).

6

Студенческое общежитие (нем.).

Купить: https://tellnovel.com/ru/dzhon-irving/semeynaya-zhizn-vesom-v-158-funtov-kupit

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить